

Денис Спарыш

Завет Петра

Аудит Империи

Денис Старый

Завет Петра. Аудит империи

«Автор»

2026

Старый Д.

Завет Петра. Аудит империи / Д. Старый — «Автор», 2026

Я очутился в прошлом — в теле умирающего государя. Ещё вчера я проводил аудит крупных компаний, а сегодня получил страну, которая пожирает сама себя. Вокруг — казнокрады, интриганы и те, кто мечтает изжить правителя со свету. Но я выживу, сломаю старые порядки, проведу реформы и построю сильную империю. Ведь теперь я — Пётр Первый. Вот только сначала нужно не дать себя добить.

© Старый Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	23
Глава 5	31
Глава 6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Денис Старый

Завет Петра. Аудит империи

Глава 1

Петербург

Наши дни

— Аудит показал, что реальная капитализация компании «Спектр» — это мыльный пузырь. Сохранение стоимости ваших акций — лишь временное явление, господа, — мой голос звучал ровно, разрезая гробовую тишину переговорной. — Заявленного газового месторождения в море Лаптевых не существует. Геологоразведка куплена у подставных фирм. Более того, даже если бы там был газ, его добыча нерентабельна на ближайшие двадцать лет без больших инвестиций в инфраструктуру в условиях мерзлоты. И это я еще называю позитивным сценарием.

Я — Павел Петрович Грахов, аудитор и независимый кризис-менеджер. Только что, глядя в глаза самым опасным людям города, я в пух и прах разнес сделку стоимостью почти в миллиард долларов. Аферу, которая могла бы войти в учебники по корпоративному мошенничеству. Мою команду привлекли на самом флажке, когда шампанское уже стыло во льду.

«Спектр» сами виноваты. Слишком всё выглядело идеально. Но в России гладко бывает только в презентациях, а на деле — сплошные овраги, в которых закопаны неудобные свидетели. И прятали столь топорно, что и не нашли другие аудиторы. Недооценили глупость людей, которые могут прикасаться к таким бешеным деньгам.

— Ты чё несешь? — массивная фигура генерального директора «Спектра» Польшина резко рванула вверх из кожаного кресла. — Ты понимаешь, сука, на кого ты сейчас пасть разеваешь?!

— Доклад закончен. Детализация по фиктивным проводкам — на странице сорок два, — ледяным тоном отрезал я и, не глядя на взбешенного гендира, кивнул своему помощнику. — Игорь, раздай участникам копии доклада и приложения.

Молодой, вечно суетливый Игорек, бледный как полотно, сглотнул и дрожащими руками начал раскладывать по темному стеклу стола увесистые папки.

Польшин шумно выдохнул через нос. Бывший браток из девяностых, так и не сумевший выдавить из себя криминальные замашки, несмотря на итальянский костюм. С погонялом Польшин. Он шагнул к Игорю.

— Бум!

Короткий, тяжелый удар снизу в челюсть. Мой помощник, жалобно охнув, отлетел к стене, роняя папки, из которых веером брызнули листы с графиками.

Польшин тут же развернул корпус ко мне, замахиваясь для второго удара. Зря.

Мое тело сработало на старых, вбитых до автоматизма рефлексах. Короткий шаг в сторону. Правая нога — высокотехнологичный титановый протез — намертво впечаталась в ковролин, давая идеальную точку опоры. Я поднырнул под летящий кулак Польшина и жестко, с проворотом, пробил ему в печень.

Бизнесмен захрипел, его глаза полезли на лоб. Не давая ему опомниться, я перехватил его бьющую руку, выкрутил кисть на излом и с силой впечатал Польшина лицом прямо в столешницу из закаленного стекла. Стекло жалобно скрипнуло.

— Разошлись! — голос прозвучал тихо, но от него повеяло таким холодом, что захотелось поднять воротник.

Говорил Виктор Рубан. Тот самый теневой олигарх, владелец флотилии нефтяных танкеров, которого Полынин только что пытался развести на миллиард мертвых американских президентов.

Я медленно разжал хват и отступил на шаг, поправляя галстук. Полынин сполз по столу, держась за бок и сплевывая кровь на дорогой ковер. Спорить с Рубаном ему было не по чину. Теперь Полыни оставалось только вымаливать жизнь, ибо за попытку кинуть «уважаемых людей» на такие деньги в суд не подают.

— Господин Полынин, сделки не будет, — произнес Рубан, глядя на корчащегося гендир, как на раздавленное насекомое.

— А вам, Павел Петрович... спасибо.

Но благодарил не Рубан. Голос принадлежал мужчине, сидевшему в самом конце стола, в глубокой тени. Я знал в лицо почти всю финансовую элиту страны, но этого человека видел впервые. Невзрачный серый костюм, тихий голос, но все в комнате, включая Рубана, подобралось, когда он заговорил.

— Я удваиваю ваш гонорар, Грахов. И ждите звонка. У меня будет для вас предложение, от которого не отказываются, — незнакомец слегка улыбнулся одними губами. — Оксфорд, блестящая карьера в Счетной палате, потом год войны, доброволец, тяжелое ранение, протез... Вы уникальный экземпляр, Павел Петрович. Берегите себя. И обзавелись бы семьей. Без семьи мужчина слабеет.

— Всенепременно, — сухо кивнул я, гася внутреннее раздражение. — А у вас дочери нет?

— Еще и дерзкий? Иногда... лишь иногда это может быть уместным, — сказал этот человек, который не удосужился и представиться. — А насчет дочерей, то дочка замужем, а внучка для вас молода, ей двадцать. Вам сорок четыре... Ждите звонка, Павел Петрович.

Ненавижу, когда кто-то копается в моем досье. Кто ты вообще такой, что сам Рубан перед тобой заискивает? Но в целом дядька интересный. И даже по тем вводным, что он предоставил... Теневой олигарх, из тех, кто имеет столько денег, что ни одному аудитору не сосчитать. Но не в деньгах дело. Этот уже власть. Имя ему... “тот, кого не называют”.

Люди Рубана еще раньше подхватили скулящего Полынина под руки и поволокли к выходу. Собрание закончилось. Следом за теневым олигархом, все пошли прочь.

Я подошел к Игорю и протянул ему руку, помогая подняться. Из разбитой губы парня сочилась кровь.

— Нормально? Кости целы? — спросил я, разглядывая его лицо.

Игорек судорожно кивнул, избегая моего взгляда. Его трясло.

— Всё, выдыхай. Вечером едем в ресторан, я угощаю, — я похлопал его по плечу. — И присматривай себе квартиру, как договаривались. Будет вам с Настей свадебный подарок от фирмы. Заслужил.

Вот только Игорек почему-то не обрадовался. Он побледнел еще сильнее, на лбу выступила испарина. Обиделся, что в морду прилетело? Зря. Скажи спасибо, что так обошлось. Куда хуже, если бы Полынь проглотил обиду, тихо ушел, а через неделю нас бы нашли в подворотне с дырками в затылках.

Еще в Счетной палате за глаза меня прозвали «Бультерьером». Кличка глупая, но точная. Если я вцеплялся в документы, если чуял запах ворованных казенных денег — челюсти я уже не разжимал. Ни по звонку сверху, ни по мольбам, ни за пухлые конверты. Давить на меня бесполезно, я порох нюхал, я со смертью в рулетку сыграл. За это, свою честность, в итоге и вылетел со службы. Но хороший кризис-менеджер на улице не останется, даже честный.

Мы спустились на подземную парковку. Гудели вентиляторы, неоновые лампы бросали холодные блики на мой черный внедорожник. Тишина казалась вязкой.

— Где этот идиот, Толик, припарковался? — водил я взглядом по парковке.

Мой телохранитель, хороший парень, боевой, свой. Я вообще делю людей просто: свой или чужой.

Увидел мой непатриотичный Гелендваген, сделал шаг в его направлении. Мой застарелый военный инстинкт внезапно взвыл сиреной. Волоски на затылке встали дыбом. Я инстинктивно вскинул голову, глядя в бетонные перекрытия, ожидая увидеть зависший дрон-убийцу или тень снайпера. Я искал угрозу где угодно, но только не рядом с собой.

Щелчок предохранителя прозвучал неестественно громко.

Я резко обернулся. В двух метрах от меня стоял Игорь. Его руки ходили ходуном, но ствол макарова, зажатый в обеих ладонях, смотрел мне точно в грудь.

— Игорь? Ты чего? — я даже не сразу поверил своим глазам. Мой смысленный помощник. Мальчишка, которого я вытащил из низов.

— Простите, Пал Петрович... — по щекам Игоря текли слезы, смешиваясь с кровью из разбитой губы. — Я не хотел. Клянусь, я не хотел!

— Опустит ствол, идиот, — я сделал медленный шаг к нему. — Полюнин заставил? Сколько он тебе предложил? Я дам втрое больше!

— Он не предлагал! — истерично всхлипнул Игорь, отступая на шаг. — У меня долги... крипта рухнула, я у букмекеров занимал... Полюнь выкупил мой долг! Он сказал, если аудит пройдет, меня по кускам в лесу закопают. А потом, если я сейчас вас не кончу... они Настю мою возьмут! Она же беременна, Пал Петрович!

— Мы решим это. Я вытащу твою Настю, слышишь? Я порву Полюнина! А ты же губишь себя. Сядешь ведь, дурачок, — я напряг ноги, готовясь к рывку. Нужно было сократить дистанцию. Полметра, и я выбью оружие. — Опустит ствол, Игореша...

— Простите! — зажмурившись, выкрикнул Игорь.

Грохот выстрела ударил по барабанным перепонкам.

Удар был такой силы, словно в грудь влетела кувалда. Меня отбросило на капот машины. Дыхание мгновенно оборвалось. Перед глазами всё поплыло, окрашиваясь в багровые тона. Титановый протез, спасавший меня в драках, был бессилен против девяти граммов свинца.

Я медленно сполз по гладкому металлу машины на холодный бетон. Последнее, что я видел сквозь мутную пелену угасающего сознания — как Игорь, бросив пистолет на пол, в панике убегает прочь, растворяясь в тенях парковки.

Бультерьера загрыз его собственный щенок. Какая ирония... Но кому все достанется? Хоть бы завещание написал...

— Отдайте все...

Темнота сомкнулась надо мной.

Петербург.

28 января 1725 года. 5 часов 17 минут.

Тьма не была пустой. Она была густой, липкой и пахла так омерзительно, что этот запах казался осязаемым.

Первое, что пробилось сквозь небытие — не звук, не свет, а именно вонь. Сладковатый, тошнотворный дух гниющего заживо мяса, застоявшейся мочи, жженой камфоры, тяжелого пчелиного воска и густого церковного ладана. Этот чудовищный коктейль ввинчивался в ноздри, вызывая спазм там, где еще недавно был простреленный желудок.

Затем пришла БОЛЬ.

Именно так, с большой буквы. Пуля, прорвавшаяся в мое нутро на парковке, показалась мне легким укусом комара по сравнению с тем адом, в который я погрузился сейчас. Источник этой невыносимой, рвущей на части агонии находился где-то внизу живота. Казалось, что внутренности залили кипящей кислотой, смешанной с битым стеклом, а мочевого пузырь превратился в раскаленный чугунный шар, готовый взорваться каждое мгновение.

Я попытался закричать, но из горла вырвался лишь жалкий, клокочущий стон.

— Господи... Господи Иисусе, прими дух его... — прозвучал совсем рядом надтреснутый, срывающийся на рыдания женский голос.

«Заткнись, сука!» — хотел бы я прокричать, но не мог.

Выдавал только хрипы. И БОЛЬ. Как такое вообще терпеть-то можно? Почему не выключается мозг, не срабатывает защита организма? Где обезболы, наконец. Что за больница. Приду в себя, разнесу всех нахрен. Коновалы.

— Попиль ты крови моей, Петруша, попил... Нынча сказываться тебе слезья майн, — молитва внезапно сменилась змеиным шепотом, полным обиды и злобы.

Голос говорил по-русски, но как-то странно, растягивая гласные и округляя слова, словно актриса в плохом историческом фильме, которых в последнее время было очень даже много. Или это такой акцент. Немецкий.

Подумать об этом я мог только в те несколько благословенных секунд, когда БОЛЬ словно бы делала вдох, набиралась сил, дабы вновь сокрушительно обрушиться на меня.

Я попытался разлепить веки. Что-то было фатально не так во всех этих запахах, в характере боли, во мне самом... Стреляли-то мне в живот и грудь, а тут эпицентр боли находился в другом, пусть и не менее важном для мужчины месте — значительно ниже.

— Хру... — прохрипел я и выгнулся дугой.

Опять скрутило. И теперь уже почти все тело свело жесткой судорогой.

— А с что он всё не преставить никак? Он умереть уже когда? — требовательный, откровенно разочарованный женский голос с немецким акцентом был тем единственным, что меня хоть немного отвлекало от боли.

И тут... Нет. Ну нет же.

— Храх... — новый приступ боли словно силой вынуждал меня поверить в то, чего быть просто не может.

Я сопротивлялся. И боли, к которой то ли уже начал привыкать, то ли она перестала казаться абсолютно всепоглощающей, и тому дикому пониманию происходящего.

И кто Я?! Слепок чужого сознания отдавался в мозгу глухим эхом. Сперва чужие мысли, воспоминания и знания бурным потоком влились мне в голову. Затем этот водопад стал иссякать, превратившись в тонкий, но непрерывный ручей.

Я всё понял, но принимать эти знания категорически не хотел. И тут, как это ни парадоксально, именно боль стала моей союзницей. Наверное, это была реакция психически нездорового, сломанного болевым шоком человека, но я отвлекался болью, в ней забывался. Я теперь даже ждал нового всплеска болезненных ощущений, чтобы не думать о реальности. Да и боль никуда не уходила, но такой уничтожающей, стирающей личность, уже не являлась.

Открывать глаза я не хотел даже тогда, когда осознал, что физически могу это сделать. Нет, я человек стойкий, в разных передрягах бывал. Повоевать пришлось, добровольцем пошел. Ну а на финансовых войнах бывает порой не менее жарко, чем под обстрелом и с жужжащими дронами над головой. Ну и быть честным — или хотя бы почти честным — чиновником-аудитором в современной России?! Это вымирающий вид людей. Бесстрашных. Или отбитых на всю голову.

Однако, открыть глаза — лишить себя возможностей. Как мне показалось, но тут были люди, которые ждали моей смерти. Моей... осталось понять, кто я. Как ни странно, но тут ответ не однозначный.

— Пойду я. Уж представился поди, государь-то наш, амператор. Воно, и скручивать его перестало, — пробасил голос человека, который только что читал молитвы.

— Что, владыко, пирог делить не хочешь? — звучал мужской голос, дерзкий, насмешливый, точно не скорбящий.

— Мирское сие, Александр Данилович, наследие великого пилить, якоже доску. Да и помолюсь я о душе Петра Алексеевича уж лучше там, где вас, чертей нет, – сказал, скорее всего, священник.

— Ты меня чертом назвал, Феофан? – взъерился...

Кто?

“Меншиков, уда гангренная, хрен моржовый!” – ворвались мысли.

— Пошли, Катька, и мы. Явись гвардии. Может и цыцку покажи, – Светлейший заржал.

— Ты князя не заговариваться, чай с императрицей говоришь, – горделиво, но как мне показалось, игриво, сказала...

“Катька, сука,” – снова мысль пронеслась в голове.

— Обождать, Светлейшай, нужда. Знать же ты, как Петр может. Еще не дай Бог встанет, – сказала “любящая” жена.

Даже обида прорвалась из слепка чужого сознания.

Приоткрыл глаза. Но так, чуть щерясь, тайком. Впрочем, на меня никто и не смотрел. Умиравший, бывший при жизни небожителем, Петр Великий, был неинтересен так, как его наследство.

У изножья кровати, нервно комкая в руках кружевной платок, стояла женщина. Полная, с растрепанными волосами и оплывшим лицом. Сейчас ее черты исказила гримаса скорби, но сквозь эту дешевую театральную маску отчетливо проступало жадное, хищное и нетерпеливое ожидание. Или нет? Странное сочетание и вроде бы эмоции скорби, и радости одночасно. Что из этого игра, что жизнь – не понять.

Екатерина. В девичестве — Марта Скавронская. Та самая любящая женушка, что только что шипела про выпитую мной кровь, с нетерпением поглядывая на песочные часы.

Чуть поодаль, в тени массивного шкафа, маячила плотная мужская фигура в расшитом серебром кафтане с яркими, как бы не в бриллиантах, пуговицами. Мужчина грыз ноготь на большом пальце, его глаза лихорадочно бегали по комнате.

Александр Данилович Меншиков. Светлейший князь. Ворище таких эпических масштабов, что те губернаторы и министры, чьи схемы я вскрывал в двадцать первом веке, по сравнению с ним — жалкие, сопливые карманники, тырящие мелочь по трамваям.

Я это знаю, но он и отдушина, балагур и хранитель многих тайн. Но ведь вор...

Они ждали. Они тупо и обыденно ждали моей смерти. Ждали, когда этот гигантский, сломанный болезнью и изношенный механизм окончательно испустит дух, чтобы тут же вцепиться друг другу в глотки в драке за оставленный без наследника трон.

«Хрен вам по всей морде, — с холодной, кристально чистой яростью подумал я. Боль отступила на второй план, вытесненная профессиональной злостью. — Я — аудитор. И я органически, до дрожи в руках ненавижу, когда у меня за спиной нагло пилят казенное имущество. А Российская империя — это, мать вашу, очень большое казенное имущество!»

Очередной дикий спазм скрутил низ живота, заставив меня скрипнуть зубами. Мочевой пузырь. Вот где таилась смерть. Вот моя главная, первоочередная проблема. Уремия. Закупорка. Если я не избавлю организм от жидкости в кратчайшие сроки, меня ждет разрыв, перитонит, и тогда никакая сила воли попаданца не спасет меня от повторной, теперь уже окончательной смерти в луже собственной мочи.

В комнату чинно, как хозяин вошел еще один персонаж в выцветшем парике. Он был с какими-то пробирками, флаконами.

— Ну же, Блюментрост, скотина, когда дух государь издаст? – взъерился Меншиков на входящего.

— Да все же... Молчит и не дышит, – сказал медик, академик, лейб-хирург меня, Петра Великого. – Приставилси.

И тут, только-только забрезжившаяся надежда погасла. Я мыслил, но перестал дышать, чувствовать свои конечности.

— Ну слава тебе Господи, приставилси, – сказал Меньшиков и запричитал: – да на кого ж ты нас... кормилец, свет наш в темноте... отец родной... Катька, двери приоткрой, да окно, а то никто не услышит меня. С чего ради стараюсь?

— Найти служку, Алексашка, кабы твой наказ исполнить, – отвечала моя жена, которая брала мою безвольную руку, поднимала и роняла. Забаву, сучка кухарская, нашла себе.

— Все будет, Катька... И слуги и Монсов молодых и горячих в постель тебе под дюжине в день засылать стану. Токмо полки ждут, матушка. И вот это вот сожги. Не гоже заветы Петра оставлять. Еще кто прочитает, – сказал Меньшиков, после я услышал его шаги.

— Подождать, Данильевич нужно жечь. А что, коли не выйдет, то вот... завешание. Пускать уж Анна царствовать станет, все лучше, чем гнойный ублюдок Алексея, Петр Алексеевич, – сказала Екатерина.

— Ну положи вон... в сундук малый. Нет... с собой возьму. Нет... в сундук... Пошли Катька, Ушаков уже привести гвардию должен. Смотри, пока иные не стали действовать. А то кухарку не захотят бояре недорезанные, – сказал Меньшиков.

И не стеснялся же доктора Блюментроста. Говорил такие вещи!

Перед тем, как я услышал удаляющиеся шаги, был еще и шлепок. Глухой такой, по одежде.

— Даниловыч, ты чего, хрен старый, былее спомнить желать? – отреагировала Катька на шлепок.

— А что, матушка, чай не хуже твоего Монса покойника юбки задирать умею, – сказал Меньшиков и с ржанием...

Сука... с откровенным смехом, когда я вроде бы как и умер, не шевелюсь, они резвились рядом с умершим императором, от которого завесили, кто им дал все.

Выждав время, ушел и Блюментрост. Нет, не сразу, а залез в ларец, в другой, выгреб кольца, перстни, еще что-то и побежал прочь.

Меня, ИМПЕРАТОРА, оставили одного. И только сейчас я окончательно впустил в голову это осознание. И вот что... Жутко хотелось жить. В этой реальности, в этом времени? Пусть. Зачем-то меня, аудитора, сюда забросило. Впрочем, не сложно же догадаться, зачем.

Но пока задача – выжить. И что-то мне подсказывает, что моему исцелению, коли уж такое случится, далеко не все возрадуются. И тогда своя голова окажется ценнее, чем царская.

Глава 2

Глава 2

Петербург. Зимний дворец.

28 января 5 часов 20 минут 1725 года.

Открыл глаза. Я лежал на спине. Надо мной нависал тяжелый, расшитый золотыми двуглавыми орлами бархатный балдахин зеленого цвета. Ткань была старой, пыльной и почему-то казалась невероятно тяжелой, давящей.

Боль отходила и я попробовал еще раз проанализировать свое состояние. Вспомнилось, что в клиниках для душевно больных можно, по слухам, так как я такие заведения обхожу стороной, и Наполеона встретить. Ну и Петра Великого. Мало ли... Психически больные люди вряд ли признают когда, что они таковые и есть.

«Так что... Где я? — мысль билась в воспаленном мозгу, как пойманная птица. — Реанимация? Склиф? Психушка? Почему такой балдахин? Какие, к черту, орлы?! Меншиков, Катька. Это не шиза, это все правда?»

Понятно какие орлы, двуглавые. Может не канонические гербы России, но рядом с этим. Но зачем такой пафос у больничной койки?

Самое поразительное заключалось в том, что я уже знал ответ. Я... Он... Мы... Петр Великий, умирающий на своем смертном одре.

Я попытался пошевелить рукой. Тело ответило, но это “не мое” тело.

Суставы хрустнули так громко, что звук показался мне пушечным выстрелом. И вновь Боль, опять в паху и резкая. О ней и о себе, обо всем разом и в одном крике, я жаждал сообщить. Страх проступил, что вот так и буду закопан, или лежать без ухода. В сознании, но погребенным. Жуть.

Изнутри, из самой черной глубины чужого, угасающего естества, рвался крик. И удивительным образом тем яростным ветром, который гнал этот вопль наружу, была чистая, первобытная воля. Неистовая жажда жить. Я хотел жить.

Тот исполин, чье тело я только что занял, в какой-то момент уже сдался. Он был окончательно сломлен и всем своим истерзанным существом желал скорейшей смерти. Я чувствовал отголоски его невыносимых, рвущих плоть мук — тех самых адских болей, с которыми он так долго и упрямо боролся, не прогибаясь, не закрывая глаз, а мужественно и прямо глядя в лицо той жестокой судьбе, что ему выпала. Но человеческие силы не безграничны. Даже у самого великого человека есть свой предел прочности. И даже у Петра Великого этот предел наступил.

Но теперь здесь был я. И порывом свежего, яростного ветра я гнал по его остывающим венам свою собственную волю. Я хочу жить! Я буду жить! Это абсолютно нормально, это самая базовая, фундаментальная установка любого живого существа, и я не собирался от нее отказываться ради исторической достоверности.

Глухо, где-то за толстыми стенами или за тяжелыми, задернутыми окнами — я еще толком не успел осмотреться в полутемной комнате — прозвучали выстрелы. Там, за пределами этой душной юдоли скорби, насквозь пропахшей приторным ладаном, застарелым потом, лекарствами и едкой мочой, уже вовсю разворачивались бурные исторические события. Гвардия волновалась. Империя готовилась осиротеть.

Мне бы хоть минуту тишины. Немного спасительной передышки, чтобы собраться с мыслями и хладнокровно прикинуть, что именно сейчас происходит в коридорах Зимнего дворца. Но нет! Все свои силы, всю ту клокочущую энергию, которая вдруг во мне проснулась, я жадно вытягивал наружу.

Я буквально проталкивал этот спасительный крик через всё свое новое, невероятно огромное, громоздкое тело. Тело, которое колоссально отличалось от того, чем я привык управлять в своей прошлой жизни. Два с лишним метра костей, мышц и угасающих нервов.

Голова работала на удивление ясно. Она успевала думать, но не вязко анализировать обстановку, а скорее молниеносно ее принимать. Нет времени для философских размышлений. Принять всё как есть. Как жесткую данность. Выкрикнуть. Заявить о себе этой эпохе. Иначе ничего не выйдет. Иначе этот измученный болезнью мозг прямо сейчас окончательно умрет от гипоксии и болевого шока, а мое сознание бесславно канет в Лету. А что там ждет дальше — Рай, Ад, холодная пустота или очередное переселение — мне думать категорически не хотелось. Мне хотелось дышать.

— А-а-арх! Я... живой!!!

Наконец я с хрипом, с бульканьем в горле вытолкнул этот рык. Он прозвучал как рев раненого, но не сдавшегося медведя.

И в ту же секунду меня словно ударило током. Мощнейший электрический заряд — или же концентрированный заряд той самой воли, который только что был занят проталкиванием крика, — словно бы перезапустил весь этот огромный, изношенный организм. Сердце дернулось и забилося с пугающей силой.

А вместе с жизнью вернулась и боль.

Та самая скручивающая, ослепляющая боль внизу живота, которая еще недавно заставляла великого императора кричать сутками напролет, пока он не сорвал голос. Боль, испугавшая и словившая того человека, который владел этим телом до моего прихода.

Сознание прежнего Петра Алексеевича, к моему легкому сожалению — я даже на мгновение почувствовал какую-то странную ответственность перед ним, — было во многом разрушено. От его личности почти ничего не осталось. Лишь только я, мое современное «я», да небольшие, разрозненные сгустки чужой памяти. Они висели в сознании, словно забытые файлы, хаотично разбросанные на рабочем столе компьютера: чтобы узнать, что внутри, к ним нужно еще дотянуться мысленной «стрелочкой» и кликнуть. Только жалкие, обрывочные осколки великой жизни.

В комнату зашли. Я тут же попытался прикинуться мертвым. Ведь если это тот же Алексашка Меншиков, того и гляди, что добьет, придушит подушкой. Но нет, это была женщина, прислуга.

— Свят, свят, свят! — истошно заголосила женщина.

С трудом сфокусировав зрение, я увидел служанку-портомою. Она уже больше минуты с безразличной обреченностью пыталась вытянуть из-под меня мокрые, насквозь провонявшие мочой и уже не только ею, но и гниющим телом грязные простыни. Услышав мой голос, баба рухнула на колени, выронив тряпье, и в ужасе уставилась на ожившего мертвеца.

К этому моменту я уже был немного приподнят на подушках. Упершись двумя огромными, костлявыми руками, которые предательски тряслись и подкашивались от слабости, я, стиснув зубы, всё-таки смог подтянуть свое тяжелое тело. Сил едва хватило, чтобы сесть хотя бы полусидя и полностью оглядеть царскую опочивальню.

Еще один персонаж появился. Отнес, видимо, скотина, награбленное из моих ларцов, вернулся на свой пост.

— Вас ист дас?! Так быть не есть! Так не мочь быть! — в панике пробормотал, отшатнувшись от кровати, доктор Блюментрост, напроочь забывая русскую речь. А ведь родился же в России.

Знания стали расплываться, соединяться с тем, с каким багажом пришел в это тело.

Этот тучный немец, лейб-медик покойного — а теперь уже не очень — императора, носил огромный напудренный парик, чьи искусственные локоны спускались чуть ли не до его изрядного живота. Сейчас этот живот ходил ходуном от ужаса.

Блюментрост суетливо и истово крестился. Причем в состоянии абсолютного шока он явно путался, в какую сторону нужно совершать крестное знамение и как вообще держать пальцы. Сложив руку каким-то нелепым троеперстием, он осенял себя крестом то слева направо, то справа налево.

Так, на всякий случай. И по-католически, и по-протестантски, и по-православному. Мало ли, к какому обряду сейчас больше прислушивается Господь Бог, когда мертвецы вдруг начинают рычать и требовать жизни. И это, на секундочку, человек сугубо ученый, первый президент будущей Академии наук и светило европейской медицинской мысли!

— Где все? — хрипло спросил я, тяжело обводя комнату помутневшим, но осмысленным взглядом.

В опочивальне было слишком пусто для такого момента. Казалось, что вот буквально недавно, еще какую-то минуту назад, у этого смертного одра толпились люди. Здесь точно должна была быть Катка-шаболда — моя “любимая” женушка, бывшая портомоя и просто подстилка кабацкая, Марта Скавронская. Тут же, утирая крокодиловы слезы, должен был тереться и ее верный подельник, Алексашка Меншиков, Данилыч.

А сколько еще тех самых “Птенцов Петрова”? Вот так умирают великие люди, забытыми, под звуки выстрелов и криков гвардейской толпы за окном, уже делящими наследие. Пока царь-батюшка изволил корчиться в предсмертных муках, все пошло делить власть, подкупать гвардию и кроить империю по своим лекалам.

Ну что ж. Сюрприз будет.

А я ведь в школе не штаны протирал. Историю проходил от и до, учился как-никак на золотую медаль. Да и потом, живя в Питере, если у тебя в целом есть хоть какая-то минимальная тяга к познанию окружающего мира, не знать в деталях историю того же самого Петра Великого — это как жить в Сочи и не знать ни единого слова по-армянски. Нонсенс. Я знал, кто должен стоять у его смертного одра и что произойдет в империи в ближайшие часы.

— Батюшка наш... Ваше императорское величество... А как же такое возможное-то? Никак Господь вас с того света вернул? — запричитала приходящая в себя служанка.

На удивление, из ступора первой вышла именно эта простая женщина-портомоя, которая еще минуту назад с обреченным видом меняла подо мной загаженные простыни. Она стояла на коленях, крестилась дрожащей рукой и смотрела на меня со священным, суеверным ужасом.

А вот просвещенный доктор Блюментрост тем временем окончательно потерял лицо. Он попятился к стене, судорожно бормоча что-то то на латыни, то на немецком языке, при этом обильно и весьма уместно сдабривая эту европейскую медицинскую тарабарщину отборными русскими матами.

— Тихо... Блюментрост... Под кровать залез быстро и чтобы там сидел тихо!

— Я...я, херр Петр,

— Хер Петр — это я! Еще какой хер и какой Петр! — сказал я, радуясь, что пусть и с судорогой челюсти, но мог говорить.

— Ваше величество, мля, хрен, — бормотал доктор, становясь на колени и в таком положении направляясь под кровать, как и было велено.

— А ты, баба, не кричи и не голоси на весь дворец, — хрипло, с трудом ворочая пересохшим языком, скомандовал я бабе. — Подойди к дверям. К караульным... коли такие там сейчас имеются. Скажи зайти сюда и помочь тебе. Скажи, что не справляешься ты с тяжелым телом моим, обмывать надобно. Поняла?

Я тяжело дышал, но мысль работала четко. Огласке предавать то, что я — ну, или Петр Великий, к чьему статусу мне еще предстояло привыкнуть, — выжил, я посчитал категорически ненужным. Понятно же, что дворцовая стая, оказавшись без грозного вожака, прямо сейчас будет скалить зубы и рвать власть на куски. Пока не нужно.

Весьма знакомая картина. Сколько такого видел, когда проводил аудит компаний после смерти владельца. Сколько участвовал в тяжбах по наследству. Молодые, да и старые, матерые волки, оставшись без жесткого пригляда, слишком быстро теряют голову от безнаказанности. Они жаждут уже самостоятельно задрать и поделить дичь. Пусть пока считают, что царь мертв. Это быстро покажет кто есть кто.

А мне бы в это время хоть немного освоиться в новом теле и подумать, что вообще произошло. Хотя ковыряться в метафизике и гадать, как вообще возможно переселение душ сквозь века, я посчитал излишним. Пустая трата драгоценных минут. Это то, о чем можно будет пофилософствовать за бокалом вина значительно позже. Если, конечно, это «позже» у меня вообще случится. Сейчас нужно было просто выжить.

Ступая спиной вперед, с безумно выпученными глазами, не переставая в священном трепете смотреть на меня, женщина в перевязанном пуховом платке, тяжелой серой юбке и съехавшем набекрень чепчике попятилась к массивным дверям.

Она приоткрыла створку, и в комнату с ужасно спертым, затхлым воздухом — дышать в которой здоровому человеку было бы определено невозможно, если только не иметь к тому многодневной привычки сиделки, — хлынул спасительный, прохладный сквозняк.

Если кто-то из вас когда-то ездил в старых советских поездах на юг, в ту эпоху, когда там еще не стали массово появляться кондиционеры, тот меня поймет. Представьте себе раскаленный на тридцатиградусной жаре железный вагон. Поезд стоит на полустанке с наглухо закрытыми окнами, внутри адское пекло. И вот состав, наконец, трогается. Пассажиры судорожно дергают вниз рамы, открывают окна, и спасительный встречный воздух мощным потоком проникает вовнутрь, обдувая изрядно вспотевшие тела божественной прохладой.

Вот точно такое же благословенное облегчение сейчас ощутил и я. Мне тут же стало значительно, невообразимо легче.

А главное — в целом притуплялась та самая сводящая с ума боль. В паху уже не так страшно пылал всепоглощающий огонь, раздиравший внутренности прежнего хозяина тела, спазм словно начал отпускать, и я...

— Вот же конфуз... — пробормотал я, прикрыв глаза, когда вдруг ощутил, как теплая, скопившаяся жидкость самопроизвольно стала выходить из меня.

Тем самым местом, которое всё еще тянуло болело, но, хвала небесам, наконец-то расслабилось и стало пропускать мочу. Уремия отступала. То ли мощный выброс адреналина, то ли само внедрение нового, здорового сознания перезагрузило спазмированные сфинктеры больного организма.

Наступило колоссальное, животное облегчение. И теперь, если боль внизу живота и присутствовала, она была столь незначительной по сравнению с предыдущими адскими муками, что ее вполне можно было терпеть, стиснув зубы. Можно было даже попробовать встать на ноги, но я пока не решался делать резких движений. По всему было видно, что физическое состояние моего нового «сосуда» медленно, но верно приходит в норму.

Я, наконец, позволил себе внимательнее осмотреться. Помещение царской опочивальни оказалось на удивление небольшим, даже тесным. Огромная деревянная кровать с тяжелым, пыльным нависающим балдахином занимала практически треть от всей площади комнаты. Повсюду, на каждом свободном клочке пространства, чадили толстые восковые свечи. Их трепещущий желтый свет, как и яркие отблески от массивных позолоченных канделябров, немилосердно резал отвыкшие от света глаза.

Небольшое оконце, застекленное четырьмя толстыми мутными стеклами, густо покрылось крупными каплями испарины из-за тяжелого, душного жара, стоявшего в этой комнате, где еще недавно умирал великий император.

Я не слышал, что именно прошептала прислуживающая мне женщина двум гвардейцам, стоявшим в карауле за дверью.

Створки дверей скрипнули. В спальню, тяжело печатая шаг, но стараясь не звенеть амуницией, вошли двое гвардейцев. Зеленые мундиры Преображенского полка, красные обшлага, лица суровые, но бледные. Они шли за трупом государя.

Их массивные кремневые фузеи с примкнутыми штыками хищно водили по сторонам. Переминаясь с ноги на ногу на полусогнутых коленях, бойцы мгновенно взяли под прицел всю эту скудную, от силы пятнадцать-шестнадцать квадратных метров, комнату. Императорская спальня в Зимнем дворце действительно была поразительно тесной.

— Ваше Величество... Отец родной... Как же так-то? — прохрипел один из них, ошарашенно опуская ствол.

Я приоткрыл глаза. Удивительно, но чужая память, словно внезапно загрузившийся файл в голове, тут же выдала мне их имена. Молодой, фактурный здоровяк Степан Апраксин, которому еще только предстояло в будущем стать фельдмаршалом и познать все взлеты и падения елизаветинской эпохи, и щуплый, но въедливый сержант Василий Суворов — будущий генерал-аншеф тайной канцелярии и отец того самого генералиссимуса. Сейчас же они были просто пешками. Моими пешками.

Или нет? Апраксин не является ли пасынком Ушакова? Того, кто уже собирает гвардию, по словам Меншикова. Но выбирать не приходилось.

— Чего встали, истуканы? — хрипло, но властно произнес я. — Портки мне сухие дайте. Живо.

Апраксин споткнулся на ровном месте. Суворов побледнел так, что веснушки на его носу проступили словно сажа. Они уставились на меня, как на выходца из преисподней.

— Свят, свят... — забормотал огромный Апраксин, судорожно хватаясь за крест. — Государь... помер ведь...

— Вести о моей смерти преувеличены, — сказал я.

А хотелось подзатыльник отвесить, или тростью огреть. Откуда это во мне? Понятно... Сознание реципиента почти испарилось, оставляя только фрагменты памяти, а привычки остались.

— Лекари сказали, отмучился Петр Алексеевич, — дрожащим, срывающимся голосом добавил будущий грозный сыщик Суворов, пятясь к двери. — Демон это! Морок! Бес в тело вселился!

— Ну ты-то куда? Суворов? — я в сожалении покачал головой.

Мысленно выругался. Ну конечно, начало восемнадцатого века. Суеверия гуще шей. Сейчас они в панике поднимут тревогу, сбежится вся дворцовая свора, лекари вылезут из-под кровати и снова начнут меня «лечить» кровопусканием, и тогда мне точно конец. Нужно было срочно бить по их солдатским инстинктам. Бить тем безусловным авторитетом, который они питали с кровью.

Глава 3

Петербург. Зимний дворец

28 января 5 часов 35 минут.

— Демон?! — я зарычал, заставив себя приподняться на локтях. Пах тут же отозвался резкой болью, но я не скривился. — Я тебе сейчас такого демона покажу, щенок, что ты до самой Камчатки строевым шагом пойдешь! А ну, смирно!!

Гвардейская выучка сработала быстрее затуманенного страхом разума. Оба гвардейца рефлексивно вытянулись во фрунт, с грохотом впечатав каблуки в паркет.

— Слушай мой приказ, — процедил я, глядя на них тем самым знаменитым, тяжелым взглядом Петра Великого, от которого, судя по мемуарам, седили европейские министры. — Быть подле меня. Никого не пущать, надо – стрелять. Ружья зарядить!

Глаза Апраксина округлились, а Суворов громко сглотнул.

— Но Светлейший жа... он приказ...

— Да ты уда гангренозная, пес плешистый, – силясь не показывать слабости и болезни, на морально-волевых кричал я, ну или хрипел.

Однако это должно было выглядеть грозно, страшно. И по глазам гвардейцев читалось, что они в ужасе. Ну еще важно не перестараться.

— А что до Меншикова, то пусть сгниет на колу, сука воровская, – продолжал я, не сразу поняв, что говорю-то я сам, но эмоции несколько чужие, да и слова.

Ни один демон, ни один самозванец в здравом уме не стал бы так говорить о всемогущем Светлейшем князе Меншикове — втором человеке в империи, которого прямо сейчас все при дворе боялись до одури. Эта грубая, предельно конкретная угроза, в которой сквозило такое знакомое, чисто петровское отношение к своему лучшему другу и главному казнокраду страны, стала для гвардейцев железобетонным доказательством моей подлинности. Морок так не ругается.

— Ваше... Ваше Величество! — Суворов первым рухнул на колени, едва не ударившись лбом о пол. — Жив, батюшка! Не гневись, что сомневались. Но сказано нам было, кабы не пущать до тела твоего брэнного никого, кроме Светлейшего и матушки,

— Ну и медикуса, и владыку Феофана и...

— Апраксин, будет тебе дурь свою мне являть! – остановил я его.

Апраксин, шумно выдохнув, с грохотом повалился следом.

— Жив, говорю, — я обессиленно откинулся на подушки, чувствуя, как по вискам течет холодный пот. Аудит империи только начинался. — А нанче молчать. И делать, что велено. Иначе обоих на дыбу отправлю. Портки мне поменяйте.

На колени-то бухнулись, но стволы ружей все еще были направлены в мою сторону.

— Фузеи опустите! Дырку во мне проделаете, — глухо, но властно приказал я, замечая, что у обоих служивых крупной дрожью трясутся пальцы на ложах мушкетов того гляди, с перепугу или от мистического ужаса выжмут тяжелые спусковые крючки.

— Т-так... Светлейший князь приказал... — заикаясь, начал оправдываться сержант, бледнея на глазах. — Велел свои посты блюсти строго. Чтoб, значит, никого к телу вашему не пускали... пока не вынесут...

— А с каких это пор Светлейший князь Алексашка Меншиков волю свою здесь изъясляет, словно бы он и есть законный государь?! — взъелся я.

И тут же пожалел об этом.

В ту же секунду на меня накатил такой первобытный, черный, неконтролируемый ужас перемешку с безумной яростью, что кровавая пелена натурально застлала глаза. В висках

застучал кузнечный молот, в ушах зашумело. Мое лицо вдруг самопроизвольно дернулось в жутком тике. Я стремительно терял над собой контроль!

Острое, почти физически осязаемое желание немедленно ударить, раздавить, задушить собственными руками, убить каждого, кто посмел послушаться — эта дикая, нечеловеческая гормональная буря начала сминать мою современную, рациональную психику. Знаменитый, разрушительный гнев Петра Великого спал в его венах и только ждал повода вырваться наружу!

Я судорожно закрыл глаза и начал тяжело, с хрипом дышать, изо всех сил стараясь не поддаться этому животному эмоциональному порыву. Сама сложившаяся ситуация заставляла меня быть в предельном тонусе, неустанно прислушиваться к своему новому организму, к этим чужим химическим реакциям, быть начеку и не расслабляться ни на секунду.

Возможно, только из-за этого колоссального нервного напряжения у меня и получилось в какой-то момент жестко подловить эту страшную эмоцию, направленную на выплеск слепого гнева. Я мысленно схватил ее за горло и смахнул в сторону, как ненужный мусор. Как сбивают пламя с рукава.

Гнев отступил, оставив после себя лишь холодную испарину на лбу. Я снова открыл глаза. Разум победил физиологию.

— Готовы ли вы служить мне, государю вашему истинному? — тихо, но так, что звенели стекла, спросил я, впиваясь тяжелым взглядом в гвардейцев.

Оба тут же рухнули на колени, отбросив фузеи с грохотом на паркет.

— Как есть готовы, Ваше Величество! Живота не пожалеем! — горячо зашептал сержант, истово крестясь. — Пожелаете, прямо нынче же Александру Даниловичу доложим о том, что вы в себя пришли, что живы вы! А то ведь там, во дворце, что-то страшное затевается, государь. Неладное дело. Семеновцев и преображенцев по казармам будоражат, офицеры бегают, золотом звенят...

— Еще раз без спросу о Меншикова упомянешь, сам тебя прибую, — взъярился я. — Что происходит нынче?

— Так кто супротив — бьют, кто за — серебром почуют.

Нет, нельзя мне вот так выйти и сказать, что живой. Найдется лихой и придурковатый исполнитель у Меншикова, или Ушакова, кто выстрелит, чтобы уже ничего не менять. Народ нынче в своей алчности явно же похоронил государя. Им живой Петр не нужен.

— И еще... Бумагу с моей печатью мне! Завешание поможет переписать и свидетелями тому станете. Ты, — я указал на Степана Апраксина. — Отчиму своему расскажешь об том. Но если умру, али еще что...

Что я могу сделать прямо сейчас для России? Ну а вдруг накроет болезнь и, как и Петр, умру и я. Исключать такое нельзя точно. Напротив, именно это прежде всего приходит на ум.

Вот потому я и решил, что хотя бы перепишу завешание. Это завешание передать все... А кому?

— Так позвать Остермана? Али кого из писарей? — спросил Апраксин.

Суворов смешно закатил глаза. Это называется “испанский стыд”. Василий переживает за тупость своего напарника.

— Нынче же, Ваше Величество. Тут было нужно для письма, — спохватился Суворов.

— Вот ты и напишешь рукой своей. Я еще слаб, — сказал я, но когда заметил, что Апраксин не слушает меня, а рассматривает согнувшуюся у ведра с водой служанку, добавил: — но сил, кабы палкой по мордасам дать, у меня станет. Смотри на меня, когда с тобой государь говорит!

Апраксин тут же подобрался и встал в стойку “смирно”. Являл собой вид лихой и придурковатый. Прямо по тем заветам, что приписывают мне, но я такого не говорил, как оказалось. Ну или этот фрагмент памяти стерся.

Я собирался отдать империю не Лизе. Какая Лиза? Слабость Петра, любимая дочь, но... Анне Петровне отдать. И потребовать, чтобы она со своим мужем жила тут, в Петербурге. И обязательно чтобы гнали от престола Катю. Ну и Меншикова прижали к ногтю.

Так что я переодевался, вернее меня... ну и диктовал указ. Анна была умной, спокойной, рассудительной. Она замужем, потому быстро должна была наследника принести. Тут была надежда, что не такого крайне спорного персонажа, как Петр III в иной реальности. По крайней мере, если воспитываться станет в России, то ненависти к стране не должен чувствовать.

Картина, конечно... Стою, поддерживаемый дюжим мужиком, Апраксиным, чтобы не упал. Голый, трясусь своими чреслами, к слову... ну не об этой, нынче болезненной части уже моего тела. И при этом диктую Суворову самый может быть важный документ в истории России.

Стыдно не было. Чего стыдиться? Наготы? Нет... Если только все те миазмы и зловония, что меня окружали и что исходили от меня. Вот это было и противно и за это было стыдно.

Так что я, поддерживаемый двумя гвардейцами, старался умыться. Пока служанка не подошла и не начала обмывать меня мокрым полотенцем. Гвардейцы придерживали, гной и пот, кровь – все смывалось.

— Поменяйте воду, – сказал я.

Но быстро понял, что это чревато с тем, что служанка выйдет и может своими действиями выдать меня. Впрочем, оказалось, что тут была большая кадь с водой, на несколько ведер точно. Так что скоро я наклонился к воде и окунул в нее свое лицо.

— И пусть Меншиков отдаст все свои ворованные деньги из банков английских и венецианских, или пытки и лютая смерть его и всех... – диктовал я указ. – ... Катю в монастырь.

А перо, ведомое рукой Василия Суворова скрипело по большому, формата ближе к А3 формату, листу бумаги.

Переодевание в чистое белье, даже с помощью предельно аккуратных, дрожащих от страха гвардейцев, забрало у меня последние крохи физических сил. Я лежал на взбитых подушках, укрытый тяжелым собольим одеялом, и чувствовал себя выброшенным на берег китом. Дыхание со свистом вырывалось из груди, сердце колотилось где-то в горле.

Но мозг, освобожденный от пелены уремического отравления, работал с холодной ясностью.

Я провел мысленную инвентаризацию активов. Физическое состояние — предсмертное, но с положительной динамикой. Лояльная служба безопасности — отсутствует (эти двое у дверей не в счет, они лишь исполнители). Тем более, что Апраксин и вовсе может быть враждебным, это зависит от степени погружения в дворцовый переворот его отчима, Андрея Ивановича Ушакова. Мое окружение — совет директоров, готовый разорвать компанию на куски, как только констатируют смерть генерального.

Мне было намного проще думать понятиями корпорации. Впрочем, а чем Российская империя не корпорация?

И тут вновь боль. Прямо чувствовал, что температура поднялась. Болело в паху, но пить хотелось невероятно. Особенно после умываний, организм словно бы увидел желанное и сейчас даже через боль требовал. Так можно умереть от обезвоживания.

— Воды, – потребовал я.

Служанка быстро подала воды. Я решил сам попить, но занес кубок и...

— Черт, – сказал я, разливая всю воду на себя. Может и хорошо, от холодной воды, кажется немного легче становится.

Ледяная вода, плеснувшая в лицо, обожгла кожу, но не принесла ожидаемого чуда. Я надеялся, что холодный рассудок вернется мгновенно, и голова заработает с привычной, компьютерной четкостью, как в моей прошлой жизни. Но нет. Боль, грызущая низ живота, хоть и

отступила на полшага, никуда не исчезла, продолжая пульсировать и добавляя мерзкого, глухого шума в черепной коробке.

Нужно было срочно принимать решение. Думать. Выстраивать стратегию выживания из сложившегося, прямо скажем, катастрофического положения.

На дворе стоял восемнадцатый век. Время диких предрассудков, дремучих суеверий и дворцовых переворотов. Эта мысль бешено крутилась у меня в голове, словно ветряная мельница, разгоняя липкий туман в сознании. Если они решат, что в мертвого царя вселился бес — меня просто удавят подушкой во славу Божию. Учитывая, что это выгодно сейчас многим, кому я, Петр, дал силу, то вариант с убийством не такой уж и не логичный.

Меня никак не покидало странное, интуитивное чувство, что единственным человеком здесь, кто действительно казался на моей стороне и искренне сожалел о моей кончине, был Феофан Прокопович. Его слова, сочившиеся брезгливостью и отвращением к тому, что вот-вот начнут делить наследство, точно были искренними.

Я мысленно «кликнул» на один из файлов в своей гудящей голове, принудительно вызывая обрывки памяти реципиента — самого Петра Алексеевича. И пазл сложился. Да. Именно этот властный старик с пронзительным взглядом был тем самым священником, что совсем недавно читал надо мной отходную молитву, готовя душу к встрече с Создателем.

Насколько позволил мой измученный болезнью организм, я резко выпрямился. Правда, сделать это самостоятельно не вышло. Огромное, тяжелое тело императора пришлось поднимать двум дюжим молодцам-гвардейцам. Повиснув на их крепких руках, я тяжело задышал и перевел взгляд с одного на другого.

Мне предстояло частично раскрыться перед ними. Именно частично. Потому что заявить этим бравым усачам: «Здраве будьте, я пришелец из будущего» — означало немедленно поставить размашистую кровавую роспись под собственным смертным приговором.

— Господа гвардейцы... — хрипло, едва узнавая собственный раскатистый бас, обратился я к ним. — Милостями своими я вас впредь не обделю. Но многое сейчас зависит от вас, вашей преданности Престолу и Отечеству, кое невозможно без сильного Престола. И от того, насколько крепко вы умеете держать языки за зубами.

Услышав царский голос, молодой Апраксин рефлексивно вытянулся по стойке «смирно». Забывшись, он отпустил мой локоть, из-за чего мое огромное тело покачнулось, и я едва не завалился на начищенный дубовый паркет.

— Прошу простить, Ваше Величество! — в ужасе побледнел он, тут же подхватился и вновь крепко взял меня под мышки, словно тряпичную куклу.

— Так вот, гвардейцы... — я замолчал, пережидая очередную, острую, как удар стилета, боль, внезапно кольнувшую в паху. Превозмогая резь, я процедил сквозь стиснутые зубы: — Первая и главная задача Гвардии — сохранять жизнь и живот государя. Посему, что бы я сейчас ни сказал, что бы здесь ни произошло, вы обязаны сохранять спокойствие. И защитить меня от любого, кто войдет в эти двери. Готовы ли вы?

К этому моменту я уже, тяжело шаркая больными ногами, проковылял до своей огромной постели. Я тяжело опустился на свежие простыни, которые, профессионально и относительно спокойная, служанка еще даже не успела до конца заправить. Сидя на краю кровати, я снизу вверх посмотрел прямо в глаза двум преображенцам.

— А теперь ответь мне прямо, Апраксин, — мой взгляд стал тяжелым, сверлящим. — Готов ли ты ничего не рассказывать о моем внезапном исцелении и о том, что здесь будет происходить, своему отчиму?

Вопрос был отнюдь не праздным. Я бы с куда большим удовольствием оперся сейчас на ружья простых, безродных гвардейцев. Но гвардия, как я уже понимал из памяти Петра, к концу его правления начала стремительно гнить, превращаясь в сборище надменных сибари-

тов и интриганов-карьеристов. Недаром здесь, в личной охране, сплошь и рядом терлись сынки и пасынки виднейших, богатейших персон Российской империи.

— Готов, Ваше Величество... — Апраксин нервно сглотнул, кадык на его шее дернулся. — Но смею надеяться, что Андрей Иванович Ушаков, воспитывающий меня как родного сына, никаким умыслом не проявит себя против престола Российского...

«Временный человек. С такими не по пути», — с холодным расчетом подумал я.

В его глазах металось слишком много сомнений. Сейчас — да, он клянется и божится. Но я был абсолютно уверен: как только могущественный Ушаков, глава Тайной канцелярии, как следует нажмет на своего пасынка, этот красавец расколется пополам. Расскажет всё под видом «великой и гробовой тайны только для...»

Вот только деваться мне было некуда. Нужно было играть теми картами, что сдали. Потом будем или заново сдавать, или меня правила игры.

— Куда ушел Прокопович, знаете? — резко спросил я, больше не обращая внимания на их клятвы верности.

Пусть пока думают, что если я прикажу — они и в гроб со мной лягут. А что будет потом — посмотрим. Великие тайные дела не терпят лишних ушей. Как говорится, что знают двое — знает и свинья.

— Так он молиться в соседняя зала, — вдруг раздался скрипучий, с сильным немецким акцентом голос.

И ответил мне не кто-то из гвардейцев.

Из-под тяжелого балдахина кровати, прямо между моих раздвинутых ног, неожиданно высунулась всклокоченная голова в съехавшем набекрень, пыльном парике. Человек выкручивал шею под совершенно неестественным углом, только чтобы снизу вверх заглянуть мне в глаза. Это был лейб-медик Блюментрост.

— Вылазь оттуда, стервец, — сплюнув, сквозь зубы повелел я, с трудом сдерживая желание пнуть его сапогом.

С превеликим удовольствием улыбаясь во все свои оставшиеся, желтые от табака зубы, Блюментрост со скрипом суставов и старческим кряхтением выполз из-под кровати на четвереньках. Отряхивая бархатный камзол, он тут же повернулся к замершей в углу девке.

— Ти плёхо убирайтса! Пыль! — раздраженно высказал он претензию служанке, тыча испачканным пальцем в пол.

— Сейчас тебе тряпку дам, — сказал я и Блюментрост, понимая, что угроза не для красного словца, что я могу заставить его мыть полы, замолчал.

Правда просил еще один взгляд на поломойку. Видимо, надышался там, под кроватью, зловониями и пыли наглотался.

Служанка ничего не ответила. Девка вообще казалась бесплотной тенью, механизмом, исполняющим заложенную функцию. Глаза ее были пусты. Она явно не хотела ни слышать, ни понимать того хтонического ужаса, что разворачивался в опочивальне покойного царя.

Прошло около пяти мучительных минут. За это время я, сцепив зубы от жгучей, режущей боли, еще раз опорожнил воспаленный мочевой пузырь в серебряную судно и сменил уже третьи исподние портки, промокшие от холодного пота и не только. Но стало сильно легче. Похоже, что я даже могу попить воды не страшась, что точно умру.

Именно в этот момент тяжелые дубовые двери дрогнули, и в комнату неслышным шагом вошел Феофан Прокопович.

В полумраке свечей казалось, что его огромная, черная с сединой борода живет своей, отдельной жизнью, шевелясь на груди. Высокие створки окон были распахнуты настежь, двери в коридор тоже приоткрыли, чтобы выгнать запах смерти. Внутри огромного помещения гулял стылый, злой петербургский сквозняк, трепля пламя в канделябрах. Но именно от этого лютого

февральского мороза моему горящему, задыхающемуся телу становилось хоть немного, но легче.

— Всем выйти вон! — хриплым, ломающимся басом приказал я, с трудом отрываясь от подушек. — Стоять у дверей. Никого не впускать. И никому — ни единого слова. Если кто хоть пискнет о том, что здесь видел... я вас даже не четвертую. И не на кол посажу. Я с вас живых шкуру спущу своими собственными руками, клянусь Господом.

Кто бы другой так угрожал, можно было бы подумать, что образно сказал. Но не Петр Великий. Он мог. Может ли и сейчас? Не знаю. С волками жить – по волчьи выть. Смогу и я, если только это будет рациональным. Но сперва выжить нужно.

Я тяжело обвел застывших преображенцев потемневшим от боли взглядом, убеждаясь, что угроза достигла цели, и тут же смягчил тон:

— Ну а если всё пройдет так, как мне надобно — осыплю серебром и золотом так, что внукам вашим хватит. Пошли вон.

Древний, как сам мир, но безотказно действенный прием: с одной стороны — напугать до животного ужаса, с другой — пообещать немыслимые блага. Гвардейцы, пятась и кланяясь, словно перед языческим божеством, бесшумно скрылись за тяжелыми дубовыми дверями. Блюментрост, что-то бормоча по-немецки, выскользнул следом, утащив за собой и насмерть перепуганную портомою. А они смотрятся вместе, особенно после того, как медик измарался под кроватью.

Мы остались в полумраке опочивальни вдвоем с Феофаном Прокоповичем.

Архиепископ Новгородский, первый советник Империи в духовных делах, смотрел на меня не мигая. В его умных, глубоко посаженных глазах читалась сложная гамма чувств. Так мог смотреть только потрясенный отец на вернувшегося с того света блудного сына. Или, что было куда точнее, гениальный учитель — на своего лучшего, но непредсказуемого ученика, сотворившего невозможное чудо.

— Как? — только и выдохнул священник, делая медленный шаг к кровати.

— А если скажу правду, владыко, — скривив пересохшие губы в подобии усмешки, ответил я, — поверишь ли?

— Сие зависит от того, что именно ты скажешь, государь, — тихо ответил Феофан.

Он подошел вплотную. Его рука с длинными, сухими пальцами медленно протянулась ко мне. Словно желая окончательно удостовериться, что перед ним живой человек из плоти и крови, а не присланный дьяволом морок или злой дух, Прокопович с силой ткнул указательным пальцем в мое обнаженное, покрытое липким потом плечо. Палец уткнулся в твердую, горячую мышцу.

Я поморщился, но не отстранился.

— Владыко, ты же не слепец и прекрасно понимаешь, что сейчас происходит там, за этими стенами. Сам Меншикову на то указывал... — я кивнул в сторону запертых дверей, тяжело дыша

— Ты слыхал разговоры? — удивился священник. — Тогда без крови не обойдешься. Наговорили бесовские те настолько, что мне ночь молиться, но их скверну не отмолить от себя, как измазался в навозе.

— Да, ведаю я, что черти уже слетелись делить мое наследство. Я им живой больше ни к чему. Они уже сделали свои ходы. Ходы, после которых точно знают: если я встану с этого ложа, я отправлю их всех на плаху. Без раздумий.

— Да и пусть эти Иуды горят в Геене огненной! — вдруг с неожиданной яростью прошипел Прокопович, и его борода гневно вздрогнула, словно подтверждая возмущение хозяина. — Так чего же ты медлишь, государь? Чего не призываешь верных генералов своих? Почему не крикнешь Гвардию, чтобы вошли, увидели тебя во здравии и защитили престол?!

Я посмотрел на него со снисходительной горечью.

— Думаешь, Феофан, в той самой Гвардии прямо сейчас, в эту самую минуту, не найдется ни одного купленного ублюдка, который выстрелит в меня по наущению Меншикова или кого-то другого из «птенцов моих», в воронов превратившихся? — я саркастически хмыкнул, но тут же захлебнулся кашлем. — Да, потом Светлейший Александр Данилович самолично, с картинным гневом, прирежет этого стрелка на месте как изменника. Но дело будет сделано. И я помру окончательно. Считаю, что у меня и без того прямо сейчас одна нога стоит на небесах, а другая скользит по земле. Одно неверное движение — и я труп.

Пока я говорил это, мой лихорадочно работающий мозг, переплетая знания аудитора из XXI века с жестоким политическим опытом Петра I, окончательно достраивал схему. Я просчитывал эффект. Тот самый сокрушительный, театральный и спасительный эффект, с которым я должен был появиться перед двором и объявить о своем «воскрешении».

— Твоя правда... — Феофан побледнел, начав наконец до конца осознавать чудовищную сложность и опасность сложившейся ситуации. — А еще ведь, увидев твое внезапное исцеление после предсмертных мук, могут крикнуть, что в тебя бес вселился. Назовут чертом или дьяволом, поднимут бунт...

— Ну так оживи меня, владыко! — перебил я его, чуть ли не выкрикнув эти слова. — Молитвой своей святой оживи! И себя покажешь, как истинного служителя и...

— Я и есть истинный... Оживить? Воскресить тебя? Что же ты речешь-то такое?

Глава 4

Глава 4

Петербург. Зимний дворец.

28 января 1725 года 6 часов 10 минут.

— Ты меня не перебивай, костыль с рясе, – вдруг, да и не своими словами, сказал я.

— Вот... Нынче я уверился, что ты – суть есть ты, – сказал Феофан.

Я подался вперед, впиваясь взглядом в глаза священника. В этот момент невыносимо, до искр из глаз, защипало в паху — последствия недавнего опорожнения истерзанного болезнью мочевого пузыря. Боль была такой... не сильной, терпимой, но подлой, тянущей, что она буквально связывала язык, не позволяя говорить складно, но я заставил себя продолжить:

— Если я поднимусь на ноги прямо на глазах у вельмож от того, что над моим холодным телом будет звучать твоя чудотворная, архиерейская молитва — у кого посмеют возникнуть вопросы?! У кого хватит духу усомниться в Божьем промысле?!

Феофан Прокопович отшатнулся, словно я ударил его по лицу. Он перекрестился дрожащей рукой.

— Кошунство сие пред Господом великое... — задумчиво, почти шепотом произнес он, глядя куда-то сквозь меня.

Но я не стал больше давить. Я промолчал. Я прекрасно слышал, что слова умнейшего иерарха церкви прозвучали отнюдь не осуждающе. Феофан не гневался. Он — думал. Взвешивал риски для себя, для престола, для Империи. И это страшное решение он должен был принять сам.

Тишина в спальне стала такой густой, что казалось, ее можно резать ножом. Слышно было только мое прерывистое дыхание и треск свечей.

Внезапно Прокопович резко вскинул голову. Лицо его преобразилось, став жестким, как гранитный лик на надгробии.

— Говори, что удумал, государь! — голос архиепископа зазвучал твердо, и это были явно не слова кроткого пастыря. — Грешен, зело возжелал я посмотреть на звериные морды тех стервятников, кто уже успел тебя похоронить!

И я, преодолевая слабость, быстро, рублеными фразами рассказал ему свой план. То, что должно было произойти в ближайшие часы. Тот спектакль, который перевернет историю России.

Как только план был утвержден, в покоях закипела лихорадочная работа. Я велел вернуть портomoю — для этой бессловесной тени тоже нашлось важное задание.

А напоследок, пока Феофан прятал под рясу приготовленные вещи, я на всякий случай вытащил из сундука Завещание. Я не приказал, но твердо попросил Прокоповича: если мой безумный план сорвется и меня все-таки добьют, передать эту бумагу лично Павлу Ивановичу Ягужинскому — генерал-прокурору Сената. Оку государеву.

Почему-то именно сейчас, на краю гибели, мне кристально ясно казалось, что только этот прямой и жесткий человек — один из немногих в Зимнем дворце, кто в эту минуту не делит в кулуарах шкуру еще не умершего русского царя.

Двор Зимнего дворца.

28 января, 6 часов 25 минут.

Насколько же разительно и кошунственно было все то, что творилось во дворе Зимнего дворца Петербурга. Голый парк, еще не успевший превратиться в то, что хотел бы тут видеть император, не Версаль. Молодые деревья и кусты, обнаженные, без листвы, выглядели блекло,

уныло. Но вот радость была вокруг таковой, что того и гляди, набухнут почки еще до того, как сойдет снег и начнется весна.

Тишину скорбного дворца разрывал гул сотен глоток, звон шпор и пьяный смех. Государь умер, а радуются так, как и при его жизни не радовались.

— Это всё от матушки нашей! За верность вашу! — надрываясь, орал голос Александра Даниловича Меншикова. — Веселись, братки, радуйтесь императрице-матушке, верные сыны Отечества Петрова.

В залитом дрожащим светом факелов и костров разворачивалась фантасмагорическая картина. Четверо дюжих гвардейцев-преображенцев, кряхтя и краснея от натуги, подняли на плечи тяжелогрузную, располневшую женщину в траурном, но невероятно богатом платье.

Их лица лоснились от пота, несмотря на то, что устойчивый морозец щипал щеки, но светились животным, наглым довольством. Еще бы — они, простые рубаки, своими грубыми руками держали за бедра ту самую плоть, к которой имел право прикасаться лишь сам Великий Император! Счастье то какое — мыть бабу государя. Словно бы прикасаешься к таинству великому. Великому и в том смысле, что чресла Екатерины были зело велики.

Екатерина, урожденная портомоя Марта Скавронская, а ныне без пяти минут самодержица Всероссийская, возвышалась над толпой и... была абсолютно счастлива. Ей было до жути, до сладкой дрожи в животе приятно ощущать себя на вершине этой потной, вооруженной мужской пирамиды.

Она сама, лично, еще пятнадцать минут назад выбирала этих четырех могучих красавцев-гренадеров для своей «охраны». И сейчас, когда они несли ее на плечах, их широкие ладони то и дело, якобы случайно, скользили по бархату, сминали его и залезали ей под юбки, обжигая горячими пальцами полные икры и ляжки. Иная государыня приказала бы выпороть нахалов кнутом за такую вопиющую пошлость. Но только не Марта. Она млела.

После того как венценосный супруг приказал отрубить голову ее молодому красавцу-фавориту Виллиму Монсу, а заспиртованную голову поставить прямо в ее спальне, Екатерина не на шутку перепугалась. В ее постели давно не было настоящей мужской силы.

Да, оставался Светлейший князь Меншиков — старый подельник по интимным утехам, к которому она ныряла под одеяло по давнишней, вьевшейся привычке. Но Алексашка был уже дряхлеющим, хоть и отчаянно бойким старичком, больше думающим о золоте, чем о страсти. Ну или предпочитавший резвиться с молодыми девками в бане. А тут — горячая, молодая солдатская кровь!

— Пейте, сынки! Гуляйте! — продолжал реветь Меншиков, возвышаясь на ступеньках мраморной лестницы. — Славьте государыню нашу, что в походах была, делила тягости с нами, кому Великий Петр доверялся. Виват Екатерина!

Он бешено размахивал серебряным кубком, щедро расплескивая густое красное вино. Липкие рубиновые капли летели прямо на его расшитый алмазами камзол — одеяние, стоимость которого равнялась новенькому, только что спущенному со стапелей Адмиралтейства тридцатипушечному фрегату.

Но сейчас Светлейшему было плевать на сукно. Да и на флот тоже, по большому счету. Он никогда не разделял тягу императора к морю, хотя и отыгрывал роль заядлого моремана.

Гвардейцы должны были видеть своего предводителя! Своего полудержавного властелина, героя Полтавского сражения, щедрого отца-командира! Лучшего друга Петра, того, с кем он создавал еще некогда свои потешные полки, Меншикова.

Александр Данилович же должен выражать такие же эмоции, как и солдаты с офицерами, которые все еще пребывали к Зимнему дворцу, заполняя пространство парка.

Петр умирал в уже третьем по счету Зимнем дворце, каменном здании, построенном архитектором Маттарнови. Тесное пространство на берегу Невы, по меркам королевских дворцов, конечно.

Но Меншиков ждал. Ему нужна была критическая масса гвардейцев, ответы от всех частей гарнизона, ну и приход других лиц. Сюда, на пьянку должны были заявиться разные люди, вельможи империи. К ним уже направили людей. Ведь никто и не думал, что царь наконец умрет.

Ранее Петр требовал, чтобы рядом с ним не было много людей. Он не хотел, в те даже не минуты, а секунды, когда царь приходил в себя, чтобы видели царя таким... слабым, кричащим, плачущим. Но сейчас все приедут, обязательно. И встретят тут...

— Виват гвардия Петра! – закричал Меншиков.

— Виват императрица Екатерина Алексеевна! – подхватили верные Меншикову люди.

— Виват! Виват! Виват! – орали луженные глотки гвардейцев.

Пьяные от вина и собственной значимости солдаты ревели так, что часть из них тут же срывали на морозе голоса. Но не замечали этого, хрипели, все так же выражая всеобщий психоз.

Они славили Светлейшего князя, не ведая одной крошечной детали: прямо сейчас Александр Данилович висел на волоске от лютой, позорной смерти. Он кричал и смеялся, а ранее по его спине тек холодный пот ужаса.

Еще вчера ныне покойный император грозился повесить Данилыча за чудовищное казнокрадство. Повесить так же страшно, как некогда вздернули князя Гагарина. Переворот и возведение на трон послушной, глуповатой Екатерины были для Меншикова единственным шансом не отправиться на эшафот. И гвардии незачем было знать о липком страхе их кумира. Таким страхе, что заставлял думать о том, чтобы ускорить уход своего “друга”.

Тем более что истинную суть происходящего надежно скрывал блеск металла. В неверном свете ночных фонарей и дворцовых люстр ослепительно вспыхивали монеты. Серебряные рубли и тяжелые золотые дукаты щедрой рекой текли из кошель меншиковских денщиков прямо в подставленные треуголки и бездонные карманы преображенцев. Звон золота надежно глушил голос совести и присяги.

Гвардия осиротела. Буквально за пару часов она лишилась своего грозного, жестокого, но великого Отца. И теперь, словно потерянный, испуганный ребенок, эта вооруженная до зубов толпа мужиков была готова прильнуть к теплой, мягкой груди Матери.

Тем более, к такой груди, о размерах которой по казармам ходили сальные легенды. Петр Алексеевич всегда выбирал себе в фаворитки баб дородных, пышногрудых, таких, чтобы было за что ухватиться сильной царской руке. Словно объемы телес были единственным критерием для подбора спутниц всей его тяжелой жизни.

— Виват Императрице Екатерине Алексеевне! — снова неистово завопил Меншиков, отшвырнув опустевший кубок и выхватывая шпагу из ножен.

Сталь хищно сверкнула. Штыки фузей взвились вверх. Кто-то и выстрелил.

— Виват матушке нашей! — жадно подхватила гвардия.

Офицеры начали обнажать клинки, готовясь принести присягу прямо здесь, в залитом вином и усыпанном золотом коридоре. Всё было кончено. Власть переменилась. Предательство свершилось, облекшись в форму торжества.

Екатерина счастливо засмеялась, поправляя съехавшую на грудь кружевную мантилью. Меншиков победно оскалился, понимая, что его голова останется на плечах.

Уже было много людей и не только в военных мундирах. Карет на подъезде к Зимнему скопилось на протяжении всей набережной Невы и Зимней канавы. Сотни людей прибыли ко дворцу, несмотря на раннее утро. Новости распространялись быстро, словно бы порыв ветра с Финского залива.

И Меншиков ждал именно этого. А теперь... Начинался спектакль. Гвардия уже прокричала нужное, кто умен, тот услышал и понял, куда дует ветер, и что это не порыв, это решение.

Но спектакль нужен... Вот только кто в нем будет главным актером, а кто статистом... Впрочем, пусть желающие зрелищ занимают места согласно положению в новой России. Все сами увидят.

Андрей Иванович Ушаков, глава Тайной канцелярии, стоял в глубокой тени массивной колонны и чувствовал, как под сукном дорогого камзола по спине ползет липкий холодок. Что-то было не так. Слишком уж всё гладко. Идеально выверенный спектакль, в котором ему, главному режиссеру сыска, вдруг отвели роль зрителя в галерке.

Со двора, сквозь морозный январский воздух, долетал нестройный, пьяный рев гвардейских луженых глоток:

— Виват императрице-матушке Екатерине! Виват!

Ушаков брезгливо скривил тонкие губы. Ещё вчера казалось немыслимым, что высший свет, старая аристократия, да и сама гвардия позволят взойти на престол Российской империи не просто худородной девке, а настоящей вавилонской блуднице! Марта Скаврнская... Прачка. Подстилка, которую некогда пускали по рукам все, кто заходил в дом пастора Глюка. А теперь — государыня.

Впрочем, кого винить? Ушаков мысленно сплюнул. Всё происходящее сегодня было торжеством и бунтом худородных. Взять хотя бы Алексашку Меншикова. Светлейший князь! А на деле — пирожник, безродный выскочка, прикрывающийся байками о предках из смоленской шляхты. Ушаков слишком хорошо знал цену этой «шляхте» — в Речи Посполитой стоило смерду взять в руки саблю и стянуть с убитого сапоги, как он тут же объявлял себя благородным паном.

— Ваше превосходительство... — хриплый шепот вырвал Андрея Ивановича из мрачных мыслей.

Ушаков даже не повернул головы, продолжая наблюдать за тем, как во дворе, в свете чадающих факелов, преображенцы качают на руках чьих-то офицеров. Праздник победившей преисподней.

— Чего тебе, Гаврила? — бросил он сквозь зубы, всем своим видом показывая, что помощник отвлекает его от мыслей государственной важности.

— Так пасынок ваш, Степан... Он нынче в карауле стоит, у самых дверей государевой опочивальни, — с запинкой доложил Гаврила, переминаясь с ноги на ногу.

Ушаков чуть прищурился. Шестеренки в голове гениального сыщика, еще более гениального приспособленца, который, если история пойдет тем же путем, переживет почти все дворцовые перевороты. И вот мысли зароились в голове, цепляясь за эту деталь. Обида, весь вечер глодавшая его изнутри, вспыхнула с новой силой.

Тридцать тысяч рублей! Тридцать тысяч полновесных серебряных и золотых монет он, Ушаков, влил в эту гвардию, покупая их лояльность для грядущего переворота. Из своего, между прочим, кармана, а не из казны Светлейшего! А в итоге этот красnobай Меншиков вышел на крыльцо, рыкнул, сверкнул очами, бросил пару горстей меди — и гвардия уже готова рвать зубами любого, на кого укажет перст Алексашки. Ушаков чувствовал себя фигурой, которую просто смахнули с шахматной доски в самый разгар партии.

— И что Степан? — процедил Ушаков, чувствуя, как внутри нарастает тревога. — Меншиков час назад вышел к Совету, пустил слезу и объявил, что государь помер. Но отчего лейб-медик Блюментрост до сих пор не вынес свидетельство? Отчего Феофан Прокопович торчит там, хотя Светлейший клялся, что архиепископ ушел в свою обитель молиться об упокоении? Что там происходит, Гаврила?! Иди и выведай!

— Так не выйдет, ваше превосходительство, — виновато развел руками помощник. — Молчит Степан, как сыч на морозе. Я ж уже подходил, визнавал. Зенки вытаращил, трясется весь, а слова не проронит. Там страху на них нагнали — жуть.

Ушаков резко обернулся. Глаза его сузились. Если уж его собственный пасынок боится сказать слово главе Тайной канцелярии — значит, за дверями спальни Петра творится нечто выходящее за рамки простого Дворцового переворота.

— Виват матушке! — снова раскатисто ударило со двора.

— Кто ужаса нагнал на Степку? Ты же знаешь его, что скрыть ничего не сподобится он, — резко говорил Ушаков.

«Пора брать игру в свои руки, пока Алексашка не отрубил мне голову чужими», — решил Ушаков.

Он запахнул камзол и двинулся к боковому входу в малый Зимний дворец. Андрей Иванович шел как тень, бочком, скользя вдоль ледяной каменной кладки стены. Ни единого лишнего движения, взгляд опущен — всё для того, чтобы слиться с архитектурой, не привлечь внимания подвыпивших офицеров и не поймать ничей ответный взгляд.

У самых резных дверей государева крыла путь ему преградила сталь.

Два дюжих преображенца, дыша перегаром и морозом, слаженно скрестили тяжелые фузеи с примкнутыми штыками прямо перед грудью Ушакова.

— Не велено, — рявкнул один из них, даже не пытаясь отдать честь. — Светлейший князь приказал ни единой души не пущать!

— Забыли, черти, с чьей руки кормитесь?! — взбеленился Ушаков. — Али не я раздвал серебро и злато?

Внешне он пылал гневом, но внутри оставался холоден как лед. Это была идеальная актерская игра. Его цепкая, фотографическая память тут же выдала нужную картинку: этот самый сержант, что сейчас держит штык у его груди, час назад подобострастно гнулся перед Меншиковым, пряча в обшлаг рукава блеснувший золотой рубль.

Именно на этого сержанта Ушаков и уставил свой тяжелый, давящий взгляд следователя. Гвардеец под этим взглядом неуютно поежился и отвел глаза.

— Ваше превосходительство... Андрей Иванович, не губите, — умоляющим, надтреснутым шепотом подал голос второй караульный. — Нам же Светлейший строго-настрого упрел: в эти двери первым войдет только он сам, а следом — матушка-императрица. А иначе — на дыбу обоих.

Ушаков мгновенно сменил гнев на милость. Морщины на его лбу разгладились, губы тронула хитрая, почти отеческая усмешка.

— А мы Светлейшему не скажем, — мягко, с заговорщицким прищуром произнес он.

Его правая рука, скрытая полами камзола, уже скользнула в тяжелый кожаный кошель на поясе. Там тускло звякнул металл.

Когда рука Ушакова появилась на свет, между его пальцами были зажаты две золотые монеты. Тяжелые, новенькие кругляши с профилем покойного (или еще живого?) императора. Для сержанта гвардии это было целое состояние, за которое можно было купить дом в слободе или пить целый год.

Гвардейцы, как по команде, тяжело сглотнули в унисон. Звон золота оказался громче приказа Меншикова.

— Батюшка, кормилец... — руки одного из караульных уже сами собой потянулись к желтому металлу, штык опустился к земле. — Так ежели Светлейший проведает? Встанешь ли на защиту нашу, Андрей Иванович? Не отдашь палачам?

— Ну а то как же! Обижаете, братцы, — чеканя каждое слово, заверил их Ушаков.

Он лгал. Лгал так искренне и вдохновенно, как умел только он. Андрей Иванович был еще далеко не стар, в самом расцвете мужских и политических сил, и совершенно не собирался класть свою голову на плаху ради двух идиотов с фузеями. Если Меншиков узнает — он сам лично отправит их на дыбу. Но это будет потом.

А сейчас золотые монеты исчезли в грязных ладонях гвардейцев, и тяжелые дубовые двери, тихо скрипнув несмазанными петлями, приоткрылись, впуская главу Тайной канцелярии в полумрак императорских покоев.

Тяжелая дубовая створка бесшумно подалась внутрь. Ушаков сделал уверенный шаг в полумрак предбанника, ожидая увидеть обычных гвардейских увальней, но внезапно замер, словно напорвшись грудью на невидимую стену.

Прямо на него, тускло поблескивая в свете единственного настенного шандала, смотрело черное жерло мушкета. А за мушкетом, нервно сглотнув, стоял сержант Степан Апраксин. Его пасынок. Мальчишка, в котором суровый глава Тайной канцелярии души не чаял, которого воспитывал и любил как родную кровь.

Ушаков не поверил своим глазам. На секунду в воздухе повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием молодого офицера. Степан скосил затравленный взгляд на своего напарника — матерого, усатого преображенца, который держал фузею твердо и решительно. Поймав этот взгляд, Апраксин-младший стиснул зубы, побледнел и вновь навел оружие прямо в грудь тому, кого привык называть отцом. Большой палец сержанта с сухим щелчком взвел курок.

— Стёпка... Иди сюда! — голос Ушакова хлестнул как кнут.

Он не стушевался. В этом тоне не было ни страха, ни просьбы. Это был властный, по-свойски жесткий рык главы семьи и всесильного министра, привыкшего, что по его щелчку люди падают в обморок.

Мушкет в руках Степана дрогнул. Лицо юноши исказилось от чудовищного внутреннего конфликта.

— Не велено, Андрей Иванович... — выдохнул он. В этом хриплом шепоте было столько отчаяния, детской обиды на весь свет и невыносимой жалости, что Ушакова прошиб холодный пот.

— А кем не велено, Степка?

Апраксин замялся...

— Не велено...

— Государем?

Апраксин дернулся и посмотрел себе за плечо, в сторону закрытой наглухо опочивальни императора.

Лучший следователь империи не нуждался в долгих допросах. Своего пасынка он знал так глубоко, каждую черточку его лица, каждое подергивание брови, как не всякий родной отец знает своего наследника. Степан не мог так бояться смерти или гнева Меншикова. Степан до одури боялся того, кто лежал за этими дверями.

Ушаков подался вперед и, глядя мальчишке прямо в расширенные зрачки, бросил коротко, как выстрелил:

— Пётр жив?

Апраксин вздрогнул всем телом. Он не произнес ни слова, лишь судорожно сглотнул, а в глазах его мелькнул первобытный, суеверный ужас.

Этого было достаточно.

«Господи Иисусе...» — мысль обожгла мозг Ушакова. Спектакль окончен. Игрок, которого все считали мертвым, только что перевернул стол.

Андрей Иванович круто развернулся на каблуках. Полы его тяжелого камзола взметнулись, словно крылья черной птицы. Он почти бегом, не оглядываясь, бросился прочь по гулким коридорам Зимнего дворца. В его гениальной, дьявольски изворотливой голове уже искрились, сталкиваясь друг с другом, десятки вариантов того, как выйти из этой катастрофы победителем. Или хотя бы сохранить голову. Главное — молчать. Ни одна живая душа не должна узнать, о чем он догадался, пока он сам не обернет это в свою пользу.

Выскочив на морозный двор, Ушаков хищной тенью метнулся к колоннаде, где переминался его помощник.

— Гаврила! — Ушаков вцепился в плечо адъютанта с такой силой, что тот охнул. — Всех наших людей сюда. Немедля! Пусть растворяются в толпе. Молчать о смерти! Кричать только одно имя — Петра! Чтоб ни одна собака из наших не смела рывкнуть за Екатерину! Понял? «Славься в веках великий Пётр!» — вот наш клич. Исполнять!

Его трясло от бессилия. Ушаков был главой Тайной канцелярии. Но официально же числился Петр Толстой, который уже и не появлялся на службе никогда.

И пусть даже вся Тайная канцелярия была под пятой Андрея Ивановича Ушакова, но у этой организации не было ударных батальонов. Вся его власть в Петербурге держалась на двух десятках следователей и шпииков — людях страшных в пыточных подвалах, но совершенно бесполезных в штыковом бою.

Обычно Ушаков дергал за ниточки преображенцев или семеновцев, но сейчас гвардия была пьяна, скуплена и обезумела. Сила тайников была в информации, а не в мушкетах. И прямо сейчас грубая физическая сила ломала его изящные планы через колено.

Кого еще предупредить? Кто еще не продался? Долгоруковы? Репнин? Ушаков лихорадочно перебирал в уме имена, пытаясь собрать коалицию против надвигающегося катка.

Но он не успел.

Со стороны площади ударил многоголосый, оглушительный рев, перекрывший завывания ветра. Меншиков решил, что критическая масса набрана. Струна натянулась до предела, пора было бить в набат.

Из мрака ночи, прямо на парадное крыльцо дворца, вывалилась пылающая факелами лавина.

В авангарде, словно языческий бог войны, вышагивал Александр Данилович Меншиков. Свет факелов дробился в тысячах бриллиантов и серебряном шитье его роскошного мундира. Светлейший был красен лицом, по его щекам текли то ли слезы скорби, то ли пот возбуждения. В правой руке, высоко над головой, он сжимал обнаженную шпагу, а в левой — хрустальный кубок с вином, рубиновые капли которого щедро летели на снег и эполеты идущих следом.

За ним ломилась, давя друг друга плечами и топча упавших, обезумевшая гвардейская элита. Толстой, глава древнего клана Долгоруковых, десятки «птенцов гнезда Петрова» — все они сейчас потеряли человеческий облик. Вельможи хрипло орали на своих гайдуков и телохранителей, колотя их тростями по спинам, требуя прорубать дорогу сквозь толпу, лишь бы не быть растоптанными собственными же союзниками и прорваться к заветным дверям первыми.

У самых узких дверей крыльца началась чудовищная, безжалостная давка.

Но Авангарду было плевать. Четверо дюжих, потных гвардейцев-гренадеров на вытянутых руках несли над беснующейся толпой саму Екатерину. У солдат отнимались руки, ныли затекшие плечи, они задыхались от натуги — матушка-императрица была женщиной в теле, тяжелой и грузной. Солдаты уже давно забыли о пиетете: их грязные, огрубевшие пальцы откровенно впивались в бедра и талию государыни, просто чтобы удержать этот живой груз.

Но Екатерине Алексеевне было всё равно. Бывшая Марта Скаврнская, портомоя и полковая девка, была на седьмом небе от счастья. Ее грудь тяжело вздымалась, щеки пылали пунцовым румянцем. Она смотрела поверх голов, вслушиваясь в крики «Виват!», и искренне, до слез, благодарила своего протестантского Бога за этот невероятный кульбит судьбы. Из грязи, из солдатских обозов — прямо на трон величайшей империи! Ей было абсолютно плевать на трещащие кости придворных у нее под ногами.

Когда Меншиков с размаху распахнул двери и толпа хлынула в малый Зимний дворец, внутри мгновенно стало нечем дышать. Воздух спрессовался.

Еще минуту назад промерзшие до костей люди сейчас оказались в чудовищной, душной парилке, пахнувшей мокрой шерстью, дорогими французскими духами, перегаром и животным потом. Сотни тел спрессовались в узких коридорах.

Женщины из высшего света, эмансипированные Петровскими ассамблеями, затянутые в тугие европейские корсеты, начали задыхаться. То тут, то там слышались сдавленные вскрики. Одна из фрейлин, побледнев как полотно, закатила глаза и без чувств рухнула прямо в месиво сапог. Ее тут же подхватили чьи-то крепкие руки. Гвардейцы, матерясь и орудуя прикладами, словно лесорубы топорами, начали прорубать сквозь плотную стену человеческих тел живую просеку, вытаскивая бесчувственных дам наружу, на мороз.

А Меншиков, не замечая ничего вокруг, уже приближался к дверям императорской опочивальни, готовый объявить миру о восшествии новой владычицы. Он еще не знал, что за дубовой дверью его ждет не хладный труп, а открывший глаза Император.

Глава 5

Петербург. Зимний дворец.

28 января 1725 года, 7 часов, 10 минут.

У нас всё было готово.

Я лежал неподвижно, сложив руки на впалой груди, смежив тяжелые веки. Кажется, я почти идеально исполнял роль покойника. Ну, или человека, которому до встречи с Петром в райских кущах (или где там его ждут?) оставались считанные минуты.

Сумбурная, скомканная репетиция нашего inferнального спектакля уже состоялась. Теперь оставалось только уповать на то, что никто из моей импровизированной актерской труппы не поплывет от животного страха и не выдаст себя паршивой игрой. И еще — молиться всем богам, чтобы Евдокия не перепутала момент и не дернула черную, практически невидимую суровую нитку слишком рано. А еще и слишком слабо, или сильно.

Евдокия. Так звали ту самую портомою, забитую дворцовую служанку, которая, явно почуяв, что это, возможно, ее единственный и главный шанс в жизни, вдруг преобразилась. Из бессловесного предмета интерьера, вечно трущего полы, она в одночасье превратилась в собранного, юркого бесенка, проявив поразительную сноровку и природную крестьянскую смекалку.

Еще одна деятельная портомоя. Что Катька, что эта. Может мне учредить реформу по созданию министерств и набрать министров из полomоек?

Я ненавижу ждать. Это сводило с ума больше, чем ноющая боль в пояснице и в паху. Чтобы отвлечься от липкого страха разоблачения, я занял свой мозг совершенно дурацкими, неважными мыслями.

Вот, к примеру, почему эту девку зовут Евдокия? Случайность? Или Пётр специально держал подле себя прислугу с именем своей первой — и, пожалуй, единственной венчанной по всем законам — жены, Евдокии Лопухиной, которую сам же упек в монастырь? Какая-то извращенная форма мазохизма или память о юности?

И что делать дальше? Когда все произойдет и я явлю русскому обществу себя? Мысли об этом есть уже. Конечно, стоит заниматься тем, что умею, что знаю. Империи нужен аудит! Но для начала выжить бы. Точно есть немало людей, которые не хотели бы видеть меня живым и сравнительно здоровым.

Снизу, со двора, еще не доносился топот сотен сапог по ступеням малого Зимнего дворца, но я, словно зверь, кожей почувствовал, как огромная, пьяная стихия сдвинулась с места. Сквозь толстые стены и завывания ветра я отчетливо разобрал истошный, торжествующий рык Алексашки Меншикова:

— К государю! Поскорбеть у одра!

Поскорбеть... Вот же сучок! Лживая тварь! Я мысленно скривился. Да там, за окном, в стылом петербургском воздухе творился такой праздник, словно Светлые силы только что окончательно низвергли Сатану в бездну, и теперь делили его котлы! Какой цинизм!

И я буду стесняться после такого кощунства на колья сажать? Понимаю Петра. Тут кроме как деспотом, нельзя. К моему великому сожалению. И демократию разводить не придется. Не созрело общество хоть к какому ограничению власти монарха, хотя зная историю, все монархии Европы там будут. Но не сейчас.

— Всем приготовиться! — бросил я негромко.

С удивлением отметил, что голос звучит уже не так сипло, как полчаса назад. Грудь расправилась, болезненных спазмов стало меньше. Словно болезнь отступила чудесным образом.

Впрочем, не стоит искать мистики там, где работает физиология: скопившийся гной и застоявшаяся моча наконец-то вышли из этого измученного тела, сняв острую интоксикацию.

Конечно, уремия никуда не делась. Мне еще предстояло собрать всех этих высоколобых местных коновалов, потрясти их за парики и решить, что делать с организмом дальше. Оставаться гниющим инвалидом в мои планы не входило.

Мелькнула мысль, что неплохо бы и наследника заделать.

В комнате мгновенно повисла напряженная тишина.

Евдокия юркой тенью шмыгнула под мою высоченную кровать, намотав конец черной нити на палец.

— Не подведи! – сказал я ей вслед.

Удивительное, пугающее спокойствие она проявила.

Лейб-медик Блюментрост замер у столика с микстурами, побелев как мел. Поначалу я думал вышвырнуть его за дверь от греха подальше, но вовремя сообразил: этот вороватый, трусливый немец под моим личным присмотром не осмелится сделать глупость. А вот если отпустить его в коридор, он с перепугу может начать свою игру, шепнув Меншикову, что труп-то — теплый.

Вроде бы предан медик Петру, вроде бы лечил. Но вот это “вроде бы” и смущает.

Ожидание било по нервам. Это как на стрельбище: ты знаешь, что сейчас бахнет. Проходит секунда, вторая, третья, десятая... Ты зажмуриваешься, сжимаешь зубы, понимаешь, что вот-вот рванет, и всё равно, когда гремит выстрел, вздрагиваешь всем телом от неожиданности.

Примерно так случилось и сейчас.

Тяжелые створки массивных дубовых дверей не просто открылись — они грохнули о стены с такой силой, словно их вырвало с петель ураганом. А ведь дверь массивная, дубовая. В спальню ворвался спертый дух немытых тел, морозного сукна и перегара.

— Господи Вседержителю, Врачу душ и телес! — мгновенно, громоподобным басом ударил в своды Феофан Прокопович. Архиепископ вскинул руки с зажженным кадилом. — Смирно молим Тя, призри милостивным оком на раба Твоего Петра! Утоли болезнь, исцели страсти, воздвигни от одра немощи и от ложа болезни цела и всесовершенна!

— Что он говорит? – зашептала толпа стервятников, продолжавших вваливаться в небольшое помещение.

Я грузно, протяжно выдохнул, но снаружи этого никто не заметил. Я заранее сложил и подбил толстое пуховое одеяло на груди таким хитрым валиком, что оно не поднималось и не опускалось в так моему дыханию.

Открывать глаза, даже щелочкой сквозь ресницы, было нельзя — малейший отблеск свечи на зрачке выдал бы меня с головой. Но моя фантазия (и обостренный слух) рисовали картину ярче любой гравюры.

Я почти физически видел, как Меншиков, ввалившись в опочивальню первым, широко распластал руки в стороны, уперевшись ладонями в косяки. Он, словно массивная дамба, сдерживал тот бурный, хрипящий человеческий поток, который рвался в небольшую комнату. Если бы не эта живая плотина, обезумевшая гвардейская и боярская толпа просто рухнула бы прямо на меня, смяла бы постель и сорвала бы балдахин вместе с париками.

— Будет вам! И без того тесно! – кричал Светлейший.

Светлейший, который очень быстро переметнулся на сторону Темнейших. Или всегда там был и оставался уникалом, который смог одурить государя?

— ...Ибо Ты еси Жизнь и Воскресение, и Тебе славу возсылаем... — продолжал реветь Феофан, лязгая цепями кадила.

— Тише, поп! Не поможешь уже! – в каком-то угаре кричал мой бывший, как я... Петр... считал, что единственный друг. – Матушку вносите!

— Бум! – услышал я в какофонии звуков глухой удар.

— Да что ж вы, черти-то делаете? Матушке голову о дверь отобьете так! – вскрикнул вновь главный лицедей театра абсурда.

Нет, главный – я. Только пока не пришло время. А что до того, что Катька ударилась головой о дверной косяк? Так не страшно. Там же только кость без наполнения.

— Изличися верую в Господа нашего... – продолжал феофан.

— Феофан... Ты чего еще читаешь-то?! — сквозь гул толпы пробился сдавленный, почти панический шепот Меншикова. – Какое изличися? Богом возомнил себя.

Я слышал по тону, что Алексашка был в растерянности. Голос его стал звучать затравленно. Я мысленно усмехнулся: бьюсь об заклад, он сейчас лихорадочно озирается по сторонам. Ему же до смерти нельзя показывать перед этой сворой свое истинное лицо — лицо стервятника, который искренне, до дрожи в коленях радуется, что старого льва больше нет. Но ведь в угаре показал уже свою сущность.

И тут, перекрывая гул голосов и бас архиепископа, ударил бабий вой.

— Да на кого ж ты нас покину-у-ул, сокол мой ясный! — заголосила, фальшиво причитая, Екатерина.

Самое поразительное, что ее голос прозвучал откуда-то сверху. Словно императрицу подвесили под потолок, как театральную куклу. А через пару мгновений звук глухо ухнул вниз.

«Господи, неужто эти пьяные скоты вносили ее на руках прямо в опочивальню к мертвому мужу? Потому и ударилась? Не рассчитали высоту двери?» — с брезгливым изумлением подумал я. — «Как есть, черти. Ну ничего. Сейчас мы вам покажем дорогу в ад. Я вам покажу».

Феофан Прокопович набирал силу, словно орган в пустом соборе.

Голос архиепископа гремел под сводами спальни, отражаясь от расписного потолка. Сквозь зажмуренные веки я не видел лиц, но слух улавливал нарастающий ропот. За спиной Меншикова, в спрессованной гвардейской толпе, поползли тревожные, сдавленные шепотки. Кто-то из вельмож, знающих толк в литургиях, наконец сообразил: поп читает-то не заупокойную! Это был канон, скорее все же приближенный к нему, об исцелении болящего, и с каждой строкой он звучал всё больше как дерзкий, еретический вызов самой смерти.

Я ждал. Господи, как же я ждал. Сейчас на волоске висела не просто моя жизнь в этом чужом теле — на волоске висела судьба империи. Всё зависело от того, не дрогнет ли рука Евдокии.

— ...И ДА ВОССТАНЕТ ОН! — взревел Прокопович на самой высокой, надрывной ноте, от которой заложило уши.

И в этот миг я почти физически почувствовал, как под тяжелым дубовым ложем напряглась, словно пружина, Евдокия. Едва слышно скрипнуло дерево. Тонкая, невидимая суровая нитка натянулась, сдвигая тяжелое венецианское зеркало на тумбе ровно на полдюйма. Так, чтобы получилось захватить блеск от правильно поставленных свечей.

— Ах-х... — прокатился по рядам вошедших единый, сдавленный стон первобытного ужаса.

Сработало! У меня было время, пока я валялся здесь в ожидании конца, и я, преодолевая боль, тщательно высчитал этот чертов угол преломления. Зеркало, сдвинувшись, мгновенно поймало свет всех семи восковых свечей тяжелого напольного канделябра и ударило плотным, сфокусированным золотистым лучом прямоком в красный угол — туда, где темнели старинные иконы в серебряных окладах.

И тут же — о, хвала элементарной химии и моему воспаленному мозгу! — сработала вторая часть плана. Огонь свечей наконец добрался до крошечных бумажных патронов, которые я велел прикрутить к фитилям с невидимой от дверей стороны. Внутри была обычная солдатская селитра пополам с толченой магнезией.

— Вшшш!

Пламя всех семи свечей в канделябре одновременно взметнулось вверх и окрасилось в мертвенный, фосфоресцирующе-зеленый цвет. Я позволил себе чуть приоткрыть глаза, видел это, пусть и смутно.

Комната погрузилась в inferнальный изумрудный полумрак, в котором ярко, неестественно сияли только лики святых в красном углу, подсвеченные направленным лучом зеркала. Атмосфера стала не просто таинственной — она стала осязаемо пугающей, сочащейся потусторонним ужасом, о котором в трактирах и дворцах будут шептаться десятилетиями.

— ВСТАНЬ! ВСТАНЬ, ЕСЛИ ГОСПОДУ УГОДНО! — орал Прокопович, раскачивая дымящееся кадило.

Еще и дымовуха прибавляла антуража. А еще запах “церковный” от кадила был такой едкий, что перекрывал тот, что был от сожженной смеси на основе пороха.

Архиепископ вошел в раж. Он играл свою лучшую роль так истово, что даже у меня, автора всего этого дешевого балагана, ледяные мурашки поползли по хребту. Что уж говорить о суеверных, забитых страхом божьим людях XVII века, на чьих глазах сейчас разворачивалась натуральная библейская мистерия! Они видели безумные, горящие глаза священника, зеленое адское пламя и святой свет из ниоткуда.

И тут я сделал то, чего они ждали и боялись больше всего на свете.

Я резко вздрогнул всем своим огромным телом и широко, до рези, распахнул глаза. Сделал это резко, словно бы пробуждаясь от кошмара.

Следом за этим раздался глухой удар — кто-то из вельмож заднего ряда, словно куль с мукой, просто рухнул на паркет в глубоком обмороке.

Я медленно, со скрипом в позвонках, приподнял голову от подушки и уставился немигающим, тяжелым взглядом прямо на сияющую икону Спасителя. Никому в этой толпе невежественных вояк и придворных интриганов не пришло бы в голову, что это не чудо Господне, а школьный курс оптики за восьмой класс.

— Хвала Всевышнему... — прохрипел я. Мой голос звучал как скрип немазаного тележного колеса — глухо, страшно, из самой глубины пересохшей гортани. — И сказано мне было... что дела мои благие... на ниве процветания России, хранимой Богородицей... еще не закончены. И видел я Богородицу — защитницу Руси Православной.

Иначе было нельзя. Заговори я нормальным тоном — и магия момента рассыплется. А так — я словно всё еще стоял обеими ногами за той чертой, откуда не возвращаются, лишь на мгновение заглянув обратно в мир живых.

Я оперся локтями о матрас, пытаюсь сесть. Двое гвардейцев-преображенцев, стоявшие в почетном (и уже, казалось, посмертном) карауле у самого изголовья, инстинктивно подались вперед и подхватили меня под тяжелые, влажные от пота подмышки.

— Держите, братцы, не выдайте. Ни меня, ни себя, — едва слышно, сквозь стиснутые зубы, процедил я им в самые уши, чтобы никто не увидел, как шевелятся мои губы.

Я физически чувствовал, как колотит этих двух здоровенных детей. Их колени дрожали мелкой дрожью, а руки скользили по моей рубашке. Еще секунда, и они сами грохнутся в обморок прямо на меня, сломав мне пару ребер. Немного личной царской мотивации им сейчас было жизненно необходимо. Гвардейцы сглотнули и вцепились в меня намертво.

— Пьётр! Пятруша! Живая! Душ моя, любовь моя! Как же я молиться за ды!

Задом? Вот этим местом, прости Господи, она молиться и могла.

Этот вопль, полный невыносимо фальшивой патоки и бабьей истерики, ударил по барабанным перепонкам. Екатерина. Визгливый голос бывшей портомой сейчас показался мне самым отвратительным звуком на земле.

«Вот же хитрая лиса, — мелькнула холодная мысль. — Как мгновенно переобулась в воздухе! Быстрее остальных распознала, откуда дует ветер. Уверен, на первых же допросах она будет топить Меншикова, как слепого котенка, заливаясь слезами и прикрываясь нашими общими дочерьми, выставляя себя наивной жертвой заговора».

Опираясь на плечи замерших солдат, я тяжело опустился на край измятой постели, свесив босые, отекающие ноги на ледяной паркет.

Ни у кого в этой душной, пропахшей болезнью и страхом спальне не должно было остаться ни единого сомнения: перед ними больной, умирающий, но чудом вырвавшийся из лап смерти Император. Мне, откровенно говоря, даже не приходилось ничего отыгрывать. Боль была реальной, прошивающей поясницу раскаленной спицей.

Скользнув взглядом по мутному венецианскому зеркалу в углу, я сам внутренне содрогнулся. Оттуда на меня смотрел ходячий мертвец: землисто-серое лицо, обтянутые тонким, почти прозрачным пергаментом скулы, провалившиеся глаза на дне темных, болезненных впадин, запекшиеся губы. Настоящий лик восставшего из склепа. Именно таким, жутким и непредсказуемым, меня сейчас видели Меншиков, Екатерина и вся эта затаившая дыхание свора.

Толстого, этого старого лиса, я среди них не видел. Зато где-то в задних рядах, используя чужую, но всплывающую в голове память Петра, смог выхватить мрачную, непроницаемую физиономию генерала Ушакова.

«Сюда бы Ягужинского, генерал-прокурора, — мелькнула мысль. — Чтобы прямо здесь, не сходя с ковра, взял этих тварей за жабры. Или это епархия Тайной канцелярии? Господи, сколько же мне еще предстоит узнать и вспомнить, чтобы просто пережить этот день...»

Я медленно, словно хищник, выбирающий жертву, обвел их тяжелым, давящим взглядом. В спальне стояла такая звенящая, могильная тишина, что было слышно, как трещат свечи и хрипло, со свистом вырывается воздух из моих собственных легких.

И вдруг...

Сквозь зеленоватые, тающие сполохи догорающей пороховой магнезии мой глаз выхватил едва заметное движение. Там, где все окаменели от животного ужаса, кто-то продолжал действовать.

В третьем ряду, прямо из-за широкого плеча оцепеневшего Светлейшего князя, вынырнуло лицо. И явно же по его наущению.

Оно разительно отличалось от остальных. На нем не было ни благоговейного трепета, ни растерянности. Только бледная, покрытая испариной маска фанатичной, отчаянной решимости. Челюсти сжаты так, что побелели желваки, а суженные зрачки потемнели от жгучей ненависти.

Это были глаза загнанной в угол бешеной собаки, которой уже нечего терять. Я не знал его имени, но чутье подсказало: это один из тех гвардейских «птенцов» Алексашки, чья жизнь и богатство всецело зависели от Меншикова. И сейчас этот человек понял, что его хозяину, а значит и ему самому, пришел конец. Если только не закончить начатое.

Время вдруг стало вязким, как патока.

Я видел, как рука офицера нервно, судорожно нырнула за отворот богато расшитого зеленого камзола. Как напряглись сухожилия на его запястье. Как ткань натянулась, высвобождая спрятанную смерть.

В неверном свете свечей зловеще блеснул короткий, хищный кусок вороненой стали.

Двуствольный кавалерийский пистолет. Массивная рукоять, инкрустированная костью. И самое страшное — сложный, громоздкий механизм колесцового замка, который, в отличие от кремневого, никогда не давал осечек.

Большой палец убийцы уже лежал на взведенном курке. Черный, зияющий провал дула медленно, но неотвратно поднимался из-за спины Меншикова, выискивая в полумраке мою грудь.

Глава 6

Петербург.

28 января 22.40

Черное, хищное дуло пистолета недвусмысленно указывало прямо мне в лоб. Незнакомый человек в гвардейском мундире, замерший по правую руку от Александра Даниловича, держал оружие на удивление твердо.

Мой взгляд, невероятным образом обострившийся на пороге смерти, уловил малейшее движение рядом с убийцей: светлейший князь Меншиков уже извлек откуда-то из складок камзола узкий стилет. Алексашка не сводил с меня хищных глаз. Он просто ждал. Ждал, когда грохнет выстрел, чтобы в ту же секунду показательно зарезать стрелявшего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.